

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Игорь Бахтин

2

$$F = m \cdot$$

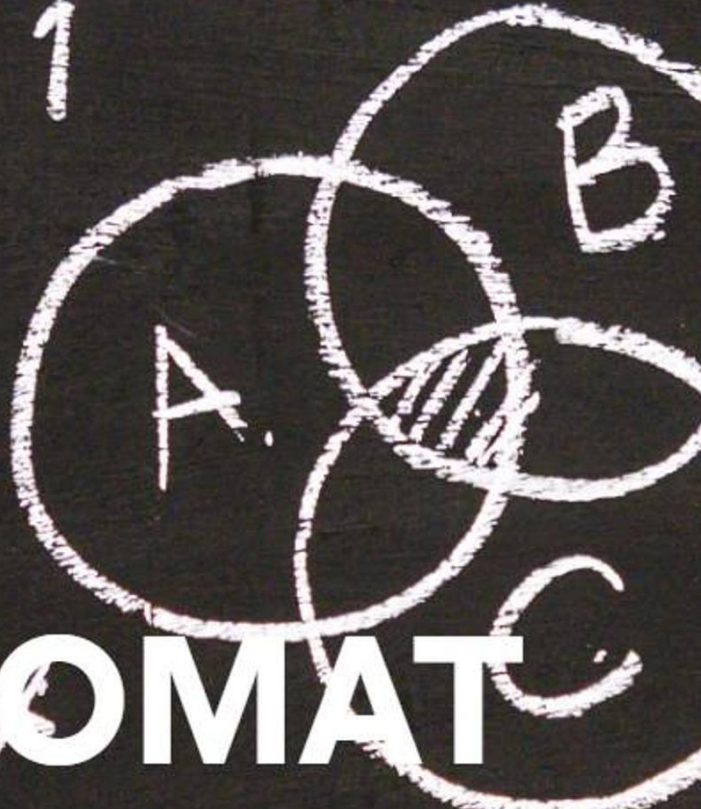
$$E = mc^2$$

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{N}$$



$$a^\circ = 1$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$



КОМПРОМАТ НА СОПРОМАТ

$$= a^2 b$$

$$P = S(1 - m \cdot a)$$

$$\Delta ADC$$

18+

Игорь Бахтин

КОМПРОМАТ НА СОПРОМАТ

«Автор»

2026

Бахтин И. И.

КОМПРОМАТ НА СОПРОМАТ / И. И. Бахтин — «Автор»,
2026

Сборник рассказов и новелл. Юмор, фантастика, религия, извилины современности, смех сквозь слёзы, питерские нюансы, романтика, серьёзно о смешном.

© Бахтин И. И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПОЛЕ ЧУДЕС	6
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Игорь Бахтин

КОМПРОМАТ НА СОПРОМАТ

ПОЛЕ ЧУДЕС

Как нынче проводят свой досуг пенсионеры? У городского пенсионера есть хоть, какой то выбор. Кроме домино – игры миллионов, можно по магазинам походить, на заморские товары поглазеть, на митингах среди ушлого люда потолкаться, в парк или на выставку сходить, на футбол или хоккей ещё. Можно с внуками в цирк или на аттракционы съездить, на даче в охотку на грядках покопаться. Наконец, можно в клуб сходить на тематический вечер: «Для тех кому за пять-десят», или, если дома один кукуешь, тоскливо тебе и одиноко, можно через газету в рубрике «Золотому возрасту – золотую старость» подругу жизни себе подыскать... или друга».

А чем прикажете заняться в свободное время крепкому ещё семидесятилетнему пенсионеру Оськину Матвею Петровичу, проживающему на хуторе Садовый, что в ста километрах от райцентра, до которого зимой добираться лучше на санях, а весной в грязь и распутицу вообще лучше не пытаться проехать, потому как обязательно застрянешь. Митингов на хуторе отродясь не было, магазинов нет: один лишь ларёк в, котором только мыло, спички, макароны, керосин, соль, дихлофос и калоши одного 46-го размера. В домино играть не с кем, футбол по телевизору.

В ближайшем селе Крутоярском есть школа, магазин хозяйственный и продовольственный, а также почта. В Крутоярском живёт правнук Матвея Петровича, который приезжает к деду на выходные. Он обязательно привозит ему газеты и журналы непременно с кроссвордами, которые дед очень любит решать, к слову, очень хорошо и быстро.

Кроме кроссвордов Матвей Петрович любит рыбачить и смотреть телевизор. Телезритель он послушный: смотрит всё, что предлагает телевидение, но особенно любит телевикторину «ПОЛЕ ЧУДЕС». Во время просмотра которой он бурно переживает промахи участников игры, особенно пожилых людей, частенько он и сам отгадывает буквы или даже слово раньше игроков, и в таких случаях, он неизменно хлопает себя по колену и досадливо восклицает:

–Эх, мне бы туда за барабан! Я бы там точно бы не сплеховал. Я бы суперприз их не упустил бы!

На что супруга его, Матрёна Ивановна, обычно язвительно вставляет:

–Сидел бы, старый. Где тебе? Это тебе не карасей ловить. Ты народу глянь сколько. Якубович глазами зыркает. Это ты здесь за пирогами да за чаем такой прыткий, а там бы всё из башки враз вылетело бы.

Матвей Петрович сразу не сдаётся, хорохориться:

–Ничего бы не повывлетело бы у меня. Я бы не сплеховал и «МЕРСЕДЕСА» ихнего не упустил бы. Такие простые слова люди отгадать не могут, надо же.

Этот диалог между супругами происходит обычно каждую пятницу и Мишка, присутствующий при этой незлобивой перепалке деда с бабкой, посмеивается сидя на диване, не вмешивается в их вечный спор. Но в одну из пятниц, когда дед опять стал бахвалиться, шестиклассник Миша для подначки деда сказал:

–Дедуль, а слабо самому в Москву поехать? Я, например, считаю, ты лучше многих кроссворды отгадываешь. Составь кроссворд и отправь Якубовичу, а там глядишь и вызовут.

Матвей Петрович немного посомневался, но на следующий день составил кроссворд на рыбацкую тему, написал короткий рассказ о себе, вложил в конверт фотографию и отправил письмо в столицу, до которой было три с половиной тысячи километров, впрочем, сильно засомневавшись в удаче.

К всеобщему удивлению, через месяц он получил приглашение на игру. Супруга Матвея Петровича заупрямилась: никуда, мол, не поедешь, ославишься, мол, на весь белый свет, но Матвею Петровичу с Мишкой, совместными усилиями удалось сломить её сопротивление и она, всплакнув, напекла пирожков в дорогу, в сумку положила огромного вяленого леща, выловленного лично Матвеем Петровичем и две банки солёных грибов для Якубовича.

На пиджак Матвей Петрович прицепил все свои награды (за его подкладку Матрена Ивановна зашила деньги), и отправился в Москву добывать супер приз, сильно волнуясь и, растеряв к тому времени, прежнюю уверенность в своих силах.

Вернувшись домой, Матвей Петрович долго томил и жену и внука, посмеивался, отвечал не попадая, как-то загадочно без ясного ответа, но за ужином, выпив рюмочку, спросил у жены: – Говорил я тебе, старая, что не упущу своей удачи? Говорил?

Матрёна Ивановна всплеснула радостно руками:

– Не уж-то выиграл?

– Вот в пятницу по телевизору покажут – всё сама и увидишь. – Повернувшись к Мише, он добавил: «Будешь, Мишаня, на «МЕРСЕДЕСЕ» гонять. Повезло нам. Он на соляре работает, а отец твой на тракторе ездит, так, что с топливом у нас не будет трудностей. Пригонят, сказали прямо к порогу.

Новость моментально облетела хутор, село Крутоярское и окрестности. В очередную пятницу, все кто узнал об удаче Матвея Петровича, сидели у экранов телевизоров и ждали начала шоу.

На экране, как всегда, появился улыбающийся Якубович и вслед за этим хуторяне увидели у игрового барабана блаженно улыбающегося Матвея Петровича. Матрена Ивановна быстро троекратно перекрестилась, а Мишка сделан кукиш – от сглаза.

Первым крутил барабан Матвей Петрович. Он крутанул его с силой, которая нужна что бы завести рукояткой двигатель грузовика. Барабан стремительно завертелся, это вызвало оживление в зале, а Якубович удивлённо поднял брови, воскликнув:

– Надо же! Не перевелись ещё богатыри на Руси.

Барабан вращался, Матвей Петрович заворожено смотрел на него, рассеянно слушая ведущего, рассказывающего о теме сегодняшней игры. Игра была посвящена псевдонимам писателей и Матвею Петровичу нужно было отгадать псевдоним писателя Андрея Синявского. Матвей Петрович знал футбольного комментатора Синявского, народную артистку СССР Синявскую, – но о писателе Андрее Синявском он никогда не слышал. Очнулся он возгласа Якубовича:

– Отличный ход! 750 Очков! Ну, слово или букву назовёте?

Матвей Петрович кашлянул в кулак, так как у него запершило в горле, и назвал букву А. На это Якубович ехидно отчеканил, что такой буквы в слове нет, и ход перешёл к медсестре из Омска. Ей выпал сектор «ПРИЗ». Немного поторговавшись, она взяла симпатичный тостер и выбыла из игры. Румяный винодел из Молдавии завалил барабан немыслимым количеством бутылок, но букву тоже не отгадал. Ход перешёл к Матвею Петровичу. Ему везло: он отгадал две буквы: первую Т и последнюю Ц. Потом ему выпал «БАНКРОТ» и ход перешёл к виноделу, который всем своим видом показывал, что он знает слово. Винодел, выпучивая глаза и потя, закричал радостно:

– Слово! Я знаю слово!

Якубович предупредил его, что если он назовёт слово неправильно, то покинет игру, но винодел, кажется, был в эйфории, ничего не слышал и выкрикнул громко:

– Турц!

В студии воцарилась предрассветная тишина. Якубович гипнотически смотрел на винодела, который как-то вдруг обмяк, скис и побледнел.

– Значит, вы считаете, что псевдоним писателя Синявского – Турц? – спросил Якубович.

– Турц, – как эхо повторил винодел.

– Нет, это не Турц, не Торц и даже не Тырц – сказал Якубович. – И вы выбываете из игры.

Матвей Петрович остался у барабана один. Ему стало здесь нравиться, он подарил Якубовичу леща и грибы, а Якубович подарил ему радиоприёмник. Пока барабан вращался, Якубович попросил Матвея Петровича рассказать, какой-нибудь забавный случай из его жизни. Матвей Петрович отнекиваться не стал и стал рассказывать о случае, который с ним, когда-то случился.

– Как-то зимой выловил я щуку. Здоровенная щука, я вам скажу, попалась. И злобная, фурия, прыгает, зубищами клацает, ухватить норовит. Я её молотком успокоил, пристукнул, ну, она и успокоилась. Мороз, я вам скажу, под двадцать, наверное, был. Промёрз я, думаю улов хороший можно и домой, понимаешь. Щуку я в сених бросил. Выпросил у тётки, Царствие ей Небесное, рюмочку для сугреву, и пошёл до жёнки. Жёнка моя спала ещё, а тётка по дому управлялась – она ни свет, ни заря вставала....

– У вас всегда такой распорядок дня? – сказал Якубович невинно улыбаясь.

– В каком смысле? – продолжая внимательно следить за вращающимся барабаном, – спросил Матвей Петрович.

– В смысле: рыбалка, щука, рюмочка – и до жёнки, – пояснил Якубович.

– Нет, – ответил Матвей Петрович серьёзно. – Тёща моя, Царствие ей Небесное, зазря не наливала. Она женщина экономная была.

У Матвея Петровича были белорусские корни и он говорил: румочка, тощца, жонка,

– Это надо понимать так, что если вы возвращались с рыбалки без улова, то рюмочки вам не перепало? И вся логическая линейка: щука – тётка—рюмочка—до жёнки рассыпалась в прах? – прилип Якубович.

– Да, когда ж такое было, что бы я с рыбалки без улова возвращался! – возмутился Матвей Петрович под смех студии.

– Приятно иметь дело с профессионалами, – сказал Якубович и пошел к табло, потому что Матвею Петровичу выпал «сектор плюс», дающий право открыть любую букву. Матвей Петрович открыл вторую – ею оказалась буква Е. Потом он опять крутанул барабан и продолжил свой рассказ:

– Только я рядом с жёнкой пригрелся, слышу, тётка моя как зарезанная заорала. Грохот в сених, наседка заклохотала, квохчет и квохчет, будто петуха соседского увидела, а тётка орёт и орёт. Какой тут сон. Бегу в сени. Гляжу, щука моя висит у тётки моей на подоле, тётка бежит, орёт. А вышло вот что. Тёща моя с ночи корзину с наседкой домой занесла, наседка сидит, значит, высиживает— приспичило ей зимой высиживать. Щука моя рядом лежит, отдыхает. Полежала, полежала и оклемалась: видать, я её молотком не сильно пристукнул. Оклемалась, наседку заприметила и давай подпрыгивать, наседка шуметь стала, тут тётка заходит на шум. Щука хватить её за подол! Тётка с испугу ведро с молоком опрокинула, поскользнулась, упала и давай ещё пуще орать. Ну, я, конечно, за топор – и по башке её, по башке!

Якубович испуганно замахал руками;

– Я, конечно, понимаю, что можно тётку не любить, но что бы топором ... это знаете...

Матвей Петрович недоуменно посмотрел на Якубовича, рассмеялся и сказал:

– Скажешь, то ж, мил человек! Я же щуку, а не Ефросинью Петровну.

Зал надрывался от хохота. Якубович вытирал платком выступившие слезы. Так под смех студии Матвею Петровичу выпал опять сектор «ПЛЮС» последняя буква была открыта, и Матвей Петрович узнал, что псевдоним писателя Абрам Терц, впрочем, от волнения он его тут же забыл.

В финал он попал с библиотекаршей из Ташкента и фермером из Брянска. У Матвея Петровича был третий номер, а первый был у библиотекарши. На табло чернели десять не открытых квадратов, под которыми скрывалась настоящая фамилия Болеслава Пруса.

Библиотекарша набрала 300 очков, покраснела и пропищала:

–Я хочу сказать слово!

Якубович поднял руку, но она и слова не дала ему сказать, быстро затараторив:

–Я хочу сказать слово, слово благодарности нашей дорогой, многоуважаемой, любимой почтенной, заведующей Рафике Курбановне Салмановой.

–Ох, уж эта восточная лстивость! Вам, что зарплату за эти слова прибавят? Вы мне буковку, какую-нибудь завалющую назовите, – поскущнул Якубович.

Буковку она назвала не ту. Фермеру выпал банкрот, и ход перешёл к Матвею Петровичу. Ему опять везло: он отгадал три буквы подряд: Л, В и О. Выиграл деньги из шкатулки, но погорел на банкроте. Библиотекарша отгадала три буквы: две буквы И, и букву К. Фермер отгадал букву Ц, и ход в очередной раз перешёл к Матвею Петровичу. На табло были открыты девять букв, нужно было только подставить к образовавшемуся ...ОЛОВАЦКИЙ первую букву. Зал скандировал: «Слово! Слово! Слово!». Матвей Петрович рисковать не стал и снова крутанул барабан к неудовольствию студии, но, когда барабан остановился, поднялся шум и раздались возгласы удивления: Матвею Петровичу, уже в который раз, выпал сектор «Плюс»! Открыли букву – это была буква Г, а слово вышло ГОЛОВАЦКИЙ.

Когда Матвей Петрович выбрал призы, Якубович, постукивая рукой по барабану и лукаво глядя на Матвея Петровича, сказал:

–Вы, конечно же, можете взять призы. И я не имею права вас уговаривать, но глядя на ваше везение у меня нет ни какого сомнения, что если вы сыграете в супер игру, то главный приз непременно будет ваш.

Матвей Петрович посмотрел на свои призы, потом на сияющий лаком и никелем «Мерседес» и сказал, махнув рукой:

–Я Мишане «МЕРСЕДЕС» обещал, давай играть дальше.

Якубович сразу согласился. Крутанули барабан, чтобы определить суперприз, и когда барабан остановился, стены студии потряс страстный и могучий крик ведущего: «Ав—то—мо—би-л -ль!!!

Чтобы выиграть, Матвею Петровичу нужно было отгадать один из псевдонимов Николая Добролюбова. В слове было всего три буквы. Якубович разрешил открыть одну букву и удача опять улыбнулась Матвею Петровичу: он отгадал первую букву слова – букву Х. Но это, тем не менее, ничем не могло помочь ему – в Супер игре правила жёсткие: даётся минута, за которую нужно дать ответ. Матвей Петрович понятия ни имел о псевдонимах Добролюбова, да и книг этого автора он никогда не читал. Минута на обдумывание побежала.

Во время показа передачи во всех семи домах хутора Садовый стояла напряженная тишина и каждый желал Матвею Петровичу удачи. Супруга его про себя быстро шептала слова молитвы, а Мишка, который деду не поверил, зная, что дед любит иногда приврать, замер с открытым ртом. Только Матвей Петрович сидел умиротворённый и спокойный, прихлёбывая чинно чай из блюдца и поглядывая искоса на напряжённые лица своих домочадцев. Минута на обдумывание истекла быстро и Якубович привязался к Матвею Петровичу:

–Слово, слово, хотелось бы слово услышать.

У Матвея Петровича снова запершило горло, он решил откашляться и честно признаться, что слова не знает. Он кашлянул громко: отчего у него получилось:

–Х-Х-ам.

Якубович впился в него глазами:

–Повторите, пожалуйста, ещё раз.

Матвей Петрович кашлянул ещё раз и у него чётко и отчётливо получилось:

—Хам.

Ну, тут Якубович взвился! По студии бегать стал и кричать. Бегаёт и кричит:

—Ну, конечно же, Хам! Ну, конечно же, Хам! Яков Хам! Он же Апполон Капелькин, он же Конрад Лилиншвагер, он же Николай Добролюбов. Ай да, Матвей Петрович, ай, да и щуку выловили на «ПОЛЕ ЧУДЕС». Была бы жива ваша тёща она бы вам не рюмочку – бутылку за такой улов выставила бы!

Он взял Матвея Петровича за руку и повёл сияющему автомобилю, у которого от волнения включилась аварийная сигнализация. Матвей Петрович ничего, не понимая, тревожно озирался по сторонам, переминаясь с ноги на ногу и пытаясь объяснить Якубовичу, что вышла ошибка, но овации заглушали его голос, а Якубович так кричал, будто сам выиграл автомобиль. И тогда Матвей Петрович смирился с неотвратимостью судьбы, подумав нехитро: «Дают — бери».

Имя Матвея Петровича было навечно занесено в скрижали «ПОЛЯ ЧУДЕС», сам Матвей Петрович уехал в свой родной хутор, увозя с собой тайну своей победы. Произошло очередное внеплановое чудо, а чудо, известно, всегда покрыто завесой тайны не всегда объяснимой. Наверное, это правильно: что это за чудо, если ему есть объяснение?

ДЕНОМИНАЦИЯ

Глушакова я давно знаю. Лет двадцать, почитай. Мы с ним долго в соседях были. В одной парадной жили. Он электриком на нашем заводе работал, пока не сократили. Прикладывался, конечно, не без этого, но не буянил. В бутылку по-пьяни не лез, отдыхал культурненько, но немного покочевряжиться для форса мог. С соседями по коммуналке поцапается слегонца, после песню любимую душевно споёт: «...и лежит у тебя на погоне незнакомая, чья-то нога», и в постелечку, мирно, без посторонней помощи протопает. Раз только, помню, он из себя вышел. Это когда Настасья, соседка его, чувырла ещё та, курицу у него из кастрюли спёрла. Нет, бить он её не стал. Он её за шиньон взял и три раза мордой лица в унитаз окунул. Для воспитательных целей. Умыл – и успокоился. Песню любимую спел, и спать отправился.

В девяносто седьмом при Бориске беспалом сменял я комнату, на Петроградку переехал. Не виделись мы с Петровичем долго, а тут вот на Почтамт пришлось ехать, – грех было в родной двор на Якубовича не зайти.

Гляжу, сидит мой корешок на скамейке. Понурый, маненечко подпитый, конечно. Собака в ногах у него грустит, глазами блымкает.

– Что, – спрашиваю, – взгрустнул, Петрович? Недопил?

– Если бы, – отвечает. – Это дело завсегда поправимое. Тут вся жизнь под откос покати-лась! Деноминация, Коля! Деноминация, будь она не ладна! Под корень она меня подкосила.

– Что тебе та деноминация? – говорю. – Тебе, что за горе, сколько нулей на деньгах? У нас с тобой банковских счетов не было и не будет. Нам миллионерами не стать.

– Не скажи. Я мог им стать при старых-то деньгах, при миллионных, до деноминации, – говорит. – Деноминация не дала. Мы с Чапой, с псиной моей, только, только интерес в жизни увидели, только на ноги вставать стали. Под корень она нас подкосила.

– Да, причём тут деноминация? И собака твоя? – нервничать начинаю. – Какая тут связь? Что ты заталдычил: деноминация, деноминация!

– Погодь, – говорит, – сейчас всё доложу.

Достал он из кармана «малёк», мы с ним маненько глотнули, и стал он рассказывать про своё горе.

– Простого человека, – говорит, – завсегда к пирогу не подпускали. Запахом только аппетит раззадорят, после дулю под нос вывернут и под зад коленом поддадут для лёгкости полёта.

Я уже шесть царей пережил. От Ёски усатого, отца народов, правда, его не помню – пацаном был, до Мишки Меченого. Даст Бог здоровья, и нынешнего алкаша, беспалого уральца переживу. И что характерно, Коля, всякий новый царь завсегда *эксক্রимент* над народом проводить начинает. Любопытно ему, значит, с *люминия* мы или с железа. И всё, значит, словами мудрёными прикрываются. Приватизация, дескать, коллективизация, инфляция. Деноминация, тьфу, – проституция! Будь она не ладна! Меня, Колян, когда с завода в девяносто четвёртом сократили, я халтурками перебивался. Кому звонок почию, кому на счётчике систему сварганю, чтобы он назад мотал, кому выключатель или розетку замену. Заработок – пшик. На пиво не хватало. Времени свободного много было, наладился я с Чапой от скуки гулять. На Сенатскую схожу, к Эрмитажу прошвырнусь, к Петропавловке, в Летний Сад, к «Авроре» загляну. Гляжу, однако ж, не у всех-то с деньгами туговато – жизнь-то ключом бьёт! У Медного Всадника толпища, свадьбы тут, шампанское хлыщут. Иностранцы на автобусах подкапывают, все с фотоаппаратами, на память щёлкаются, варежки раззявили. Питерские гуляют, пиво посасывают. Кругом столики, мороженое, вино, водичка, лимонадик, кофеёк, значит. Дети на осликах, лошадаках катаются, кареты стоят, для тех, кто по-царски прокатиться желает. Торговля процветает. Иконки, матрёшки, медали, книжки, значки, тельняшки, гимнастёрки нарасхват идут. Гулял, значит, я гулял, и думаю: люди деньги не знают куда деть, развлечься как, а мне на пиво не хватает. Надо, думаю, из этого пользу, какую извлечь, тем более, что демократия, свобода торговли, частная собственность, ёш твою налево. Пораскинул мозгами и торкнуло меня, Чапуля меня надоумила на этот, как его... бизнес-проект. Мы когда с ней гуляли, граждане к ней всё привязывались: тютю-тютю, да сю-сю-сю, какая, дескать, собачка у вас, мужчина, расчудесная и умненькая. Конфетами кормили. Она, значит, за это на задних служила: она умная псина, много чего может: танцует под «Собачий вальс», хомяка моего на спине катает, кувыряться может. Одна мамашка для своей дочки даже купить её хотел. Пять долларов давала. Почесал я репу и думаю: почему в цирк за деньги ходят на дрессированных собак и кошек смотреть, а я при такой умной собачатине страдаю финансово? Слабо мне свою Чапку обучить и деньгу стричь? Ухватился я за эту затею, стал Чапку тренировать. Год почти её натаскивал. От себя отрывал, лучшие куски кормилице отдавал. Номер приготовил козырный на медицинскую тему. Сходил я к Николе Морскому, свечку ему поставил, и двинули мы с Чапой на Сенатскую выступать, значит. Народу тьма, в субботу это было. Шляпу я у памятника Петруше медному приспособил, сам в халате медицинском и колпаке, как у Айболита, на спине мне художник один за полбанки крест красный нарисовал и написал: «Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья». Чапа передо мной на цырлах пляшет, поскуливает. Я громко так ей говорю: чего, – говорю, – раскулилась, мамзель? Папирос не получишь. Даже и не проси. Она пляшет. Скулит жалобно. Обступать стали. Иностранцы фотоаппаратами защёлкали. Ишь, – говорю Чапе, – привыкла. Прочитай вон – чего на спине написано. Ну, тут кормилица моя воем воеет. Ползёт ко мне, туфли мне лижет, дескать, на всё я согласная, только закурить дай. Я к людям: видите, господа, до чего дошла несчастная! В ногах валяется. Жить без курева она не может. Достая папиросу, протягиваю ей. На, говорю, пропащая душа, травись. Она папиросу в зубы – цап! Типа курит, зубы от счастья скалит. Тут, конечно, в публике оживление, хохот, обступают плотнее. А теперь, говорю, господа дорогие, посмотрите, что может с теми случится, кто курить приучен. Ну-ка, дорогуша, говорю, покажи нам, что с курильщиками случается. Чапа папиросу выплёвывает, – брык! на спину, лапы вытянула, замерла. Издохла натурально. Все ржут, друг друга локтями тыкают, в ладоши хлопают. Я начинаю Чапу оживлять, беру шприц, вроде укол ей делаю. Она вскакивает, прыгает, в нос меня лижет. Ожила, значит, благодарит. Будешь, спрашиваю, ещё курить? Она головой качает и скулит. Цирк, конечно, полный! Но на мою пенсию, говорю, тебе, дорогуша, до Кисловодска не доехать, пройдишь-ка по кругу и собери денежек себе на лечение, тебе, говорю, с твоим ослабленным курением здоровьем срочно нужно туда на лечение ехать. Помогите, люди доб-

рые, собачке несчастной. Чапа людей обходит, служит на задних, хвостиком виляет. Денежки зубками аккуратненько берёт и в шляпу сносит. Но на сотню или двести рублей она обижается. На такого жлоба она лает и не уходит, мол, давай, жлобяра, нормальных денег. Люди хохочут, подначивают крохобора. Я её целый год на тысчонки и пятисотки натаскивал – она к ним привыкла. Как только такой жлоб появляется, я публике говорю: не обижайтесь, Бога ради на бедное животное, она барышня из приличной семьи новых русских и к мелким купюрам не привыкшая. Тут, конечно, хохот. Скряга краснеет, в карман лезет. К долларам Чапа сама быстро привыкла. Иностранцы ей доллары давали. Видать сила, какая-то в этих долларах, что даже собаки сообщают, что это крепкая валюта. Побочно и другие денежки сами капали мне в карман: желающих сфотографироваться с Чапкой много было, все желали. Платили. Такая у нас жизнь с Чапой началась! Во всех карманах деньги шуршат. *Телевизир* себе купил, холодильник пивом забил. 362 доллара в заначку отложил. Бабу себе нашёл. Ничего себе бабёнка. Няней в яслях работала, культурная, с маникюром, причёска «домиком», своя – не шиньон. В хорошие дни по тридцать тысяч с Чапой заколачивали. С мильтонами, правда, пришлось делиться, чтоб не прогоняли. Раз только *нцидент* случился. Чапа, ёш твою налево, на тётку одну чего-то озверилась. За палец цапнула. Та – в крик. Все, думаю, конец цирку моему. А другая дама, солидная такая, в шляпе с пером, выручила. Чего орёшь, говорит, тётке этой, морда твоя брехливая. Товарищи, говорит, воровка она! Своими глазами видела, как она из ихней шляпы деньги скоммуниздить хотела под шумок. За то её пёсик этот и цапнул. Ну, конечно, зашумели, тётки и след простыл... народ у нас завсегда за справедливость. К зиме, конечно, дела у нас неважно пошли, да и Чапу не хотел морозить. А как пригревать стало, мы опять работать стали. Только деньги-то старые, миллионные у людей скоро все вышли. Публика зажлобела, монетами стали расплачиваться, редко, кто полташечку или сотенку подкидывал. Чапа моя нервной стала. Ничего не поймёт, рычит, психует. Ей, разве ж, про деноминацию объяснишь – она ж собака. Она же к старым привыкла, к тем тысячам да пятисоткам научена. Прощальную гастроль мы с ней в Летнем Саду отработали. Там она девчонку одну цапнула. Девчонка ей в рот рубль железный пихать стала, она её и цапнула. Девчонка, как заверещит, мамашка – орать. Безобразие, кричит. Почему в сад собак пускают? Может, она бешеная, кричит. Может, ребёнок теперь заикой станет. Народ роптать стал. Мы под шумок-то и смылись с Чапкой. А чего спрашивается орать? Она девчонку ту и не укусила даже, а так – щипнула слегка. Она к бумажным деньгам привыкшая. Нечего собаке мелочь в рот пихать. Если уж люди привыкают, к чемунибудь, то собаки тем более. Взять меня, к примеру. Я бельё привык носить только простое, хлопковое. У меня на нейлоны и болоньи всякие *лиргия*. Или вот ещё. Ежели я натошак папиросу не выкурю, то умру, наверное. Поэтому не рискую, завсегда первым делом, как встаю, папироску закуриваю.

– Привычка – вторая натура, – соглашаюсь с Петровичем. – У нас на заводе токарь был. Ты его знаешь, носатый такой. У него присказка была: японский городской. Через слово, как заведённый говорил: японский городской да японский городской. Говорят, это после того, как его током 360 вольт шибануло стало. А ты, Петрович не пробовал Чапу-то переучить?

– Пробовал, – говорит, – бесполезно. И слышать бедолажка про новые деньги не хочет.

– Так ты, – говорю, – новую собаку заведи. Дело-то выгодное.

– Нет, говорит, не хочу. Новую собачатину, конечно, натащить можно, ежели смышлёная попадётся, да животное жалко. Натаскаешь её, а власти опять какой-нибудь *эксক্রимент*, деноминацию или ещё какую-нибудь другую ацию придумают. Ты на Чапу-то глянь, что с ней деноминация сделала, как животинушка страдает. У нас ведь как, Колян? Только к действительности приноровишься – глядишь, всё поменялось. Одно расстройство с деноминацией этой. Совсем она меня подкосила. Может по пиву? – спрашивает.

Взяли мы с ним в ларьке четыре бутылки «Балтики» девятого номера и к воде пошли. На *ниверститецкую* набережную к *финксам*. Жарко в тот день было.

НЕРАСКРЫТОЕ ДЕЛО МАЙОРА ПРОТАСОВА

Борис Николаевич Протасов слыл в нашем городке личностью легендарной. Без малого тридцать лет прослужив следователем, он за время службы раскрыл рекордное количество самых невероятных и запутанных преступлений. Судачили, будто бы он обладает даром предвиденья, владеет приёмами гипноза, поэтому, дескать, преступники так быстро сознаются в своих злодеяниях.

Ничего такого на самом деле не было. Это был профессионал своего дела, въедливый педант с прекрасным аналитическим умом и острым глазом, психолог, отлично пользующийся в работе дедуктивным методом. Часто мельчайшие, казалось, ничего не значащие детали, на которые его коллеги могли не обратить внимания, для него становились отправной точкой, идя от которой, он мог раскрутить хитроумные преступления.

Когда он вышел на пенсию, его пригласили работать в частное сыскное агентство и он не отказался: здоровье у него было прекрасное, да и работа эта ему вполне подходила. Его жена умерла десять лет назад, детей у него не было, он больше не женился и жил в своей «двушке» тихим бобылём.

Эта печальная и невероятно странная история, перевернувшая жизнь Протасова, началась поздним осенним вечером, когда в лифте своего дома он увидел на стенке кривоватую надпись черным маркером с коротким словом – *лох*.

Большинство людей, скорей всего, даже и не обратили бы внимания на эту бессмысленную надпись, но Протасова, верного девизу: «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят», эта мазня возмутила. Человек военный, дисциплинированный он имел чёткую и активную жизненную позицию. Либеральных «толераций» он не признавал, был прям, консервативен, а голову в песок никогда не прятал. Мог, к слову говоря, в переполненном автобусе поднять на ноги молодых людей, делающих вид, что они едут в пустом автобусе, когда рядом с ними в толчее и духоте томятся пожилые люди, беременные женщины и инвалиды. Делал он это просто и эффективно, без нотаций и уговоров: подходил к такому задумчивому индивиду-наглецу и зычно и жёстко произносил командным голосом: «Резко встал, новобранец! Уступил место женщине!». Действовало это безотказно.

Южане-ларёчники боялись его больше, чем налоговых обирателей: с теми можно было договориться – с Протасовым договориться было нельзя. При нём всегда был фотоаппарат и диктофон, пользовался он ими с большой пользой для дела. Появляясь неожиданно, он выявлял продавцов, которые продавали несовершеннолетним пиво и сигареты и отвертеться торгашам уже не удавалось, он «сигналил» в прокуратуру, и чтобы дело не спустили на тормозах контролировал ход расследования. Он непременно добивался наказания для проштрафившихся, причём, совсем не боялся тратить на это личное время.

Неудобный это был человек для нынешней начальствующей братии, принявшей «присягу» верности диким законам рыночной экономики, но, как говорится, и один в поле воин, если он умеет воевать.

Вот и сейчас он твёрдо решил: «Этого я так не оставлю. Только что лифт отремонтировали, новые стенки поставили. Вычислю подлеца, заставлю прилюдно оттирать эту абракадабру, а заодно и остальные гадости в подъезде. А родителей его расчихвостю, что бы за детками-акселератами цвета индигового дерьма присматривали».

А между тем, в его голове непроизвольно уже возник слабенький буранчик, частенько становившийся предтечей мощнейшего мыслительного тайфуна. Его мозг зацепился за это короткое слово, которым, (его острый глаз это давно заметил), были нынче испещрены стены многих подъездов города. Это означало только одно: Борис Николаевич уже начал некое расследование, стал анализировать и думать.

Весь вечер он размышлял о том, почему именно этими современными петроглифами украшаются теперь стены подъездов, лифтов и заборов. «И раньше, – думал он, – реже, чем сейчас, но всё же появлялись известное слово из трёх букв на заборах и стенах, но это можно было объяснить: слово это появлялось в связи с подростковым гормональным всплеском, плюс – естественное, дурацкое желание выпендриться, похулиганить. Теперь же акселераты пишут какое-то постное слово, больше похожее на выдох или междометие. Само слово, впрочем, в нынешних исторических реалиях, конечно, не без смысла: означает оно сущность человека наивного, которого можно легко «надуть», человека упустившего какие-то возможности, индивида, не добившегося успеха, оставшегося на обочине жизни. Но, чёрт побери, скажите мне на милость, чего ради, какие-то идиоты ходят и пишут именно это слово? Не о себе же пишут, в конце-концов, не себя же лохами обзывают? Когда пишут «Петров лох», – тут мне понятно: успешный господин двоечник выставляет чёрную метку неудачнику и лоху Петрову, но в большинстве случаев пишут-то это тоскливо одинокое «лох» ...»

Некая неоформившаяся мысль томила его в голове. Утром в лифте он внимательно рассмотрел слово с помощью мощной лупы. Из лифта он вышел в сильной задумчивости.

После обеда ему пришлось ездить в предместье по одному делу. В доме, в котором ему довелось быть, стены были расписаны всякой гадостью, в том числе и новомодным «лох». Когда же он вернулся на работу, то и в лифте дома, в котором находилось сыскное агентство, появилось это слово, хотя ещё утром его не было. Тут Протасова посетила нелепая мысль: а не один ли человек всё это калякает, уж очень почерк сходный? Это нужно было проверить: педант Протасов обязан был проверить свои мысли. Всю следующую неделю он фотографировал это слово везде, где оно ему встречалось. Скинув снимки на флешку, он отнёс их старому другу графологу Логинову. Резюме графолога выглядело совершенно невероятно: «Все слова написаны одной рукой».

Не верить другу Протасов не мог. Логинов был настоящим профессионалом, но и скепсис присутствовал, заставляя сомневаться. Согласиться с тем, что какой-то бездельник-идиот шатается по всему городу, ездит во все его концы и даже в пригород ради того, чтобы черкнуть маркером три буквы было трудно. На такую «работу» нужны не только время, но и средства – городской транспорт и бензин, если он ездит на автомобиле, стоит денег и немалых. И поразительно, что при такой невероятной активности «художника», никто и никогда не видел этого неуловимого подлеца и надрал ему уши!

В эту ночь Протасов лёг спать поздно. Сидя на кухне, за крепким чаем, он на листе бумаги, написал слово «лох» и, рассматривая его, пытался сделать какие-то выводы.

Сделал он следующее заключение: слово это очень лёгкое для написания – это почти клинопись. В самом деле: л – это просто галочка, или закорючка; о – кружок; х – крестик. Написание такого слова уходит минимум времени, а учитывая, что во время этой злой акции, нужно не попасться – это, конечно, является благоприятным фактором для марателя стен: закорючка – кружок – крестик – гадость сотворена!

У Протасова написание этого слова уходило две секунды. Размышления привели его к мысли, что графология всё же не математика и ошибки возможны. Твёрдо он уверился пока лишь в одном, что пишут это популярное словцо совсем юные подлецы, с неустановившимся почерком (о каком почерке можно говорить сейчас во времена компьютеров!), от того и схожесть написания. «Пора заканчивать это гиблое дело» – решил он, но неудовлетворённость и сомнения остались.

Вскоре у него образовалась череда командировок по одному невероятно сложному делу. За два месяца он побывал в Москве, Ростове-на-Дону, Воронеже и Нальчике. Он ездил с фотоаппаратом и по инерции снимал все увиденные на стенах факсимиле из пресловутых трёх букв. Собралась порядочная коллекция автографов. Вернувшись домой он снёс снимки Логинову

и попросил сравнить новые снимки со снимками первой, местной серии. Изумлению его не было границ – Логинов сообщил, что все слова написаны одной рукой!

Протасов впал в транс, такого в его практике ещё не было. Он изменился, стал раздражителен, задумчив, после семилетнего перерыва закурил. Согласиться с тем, что он не в силах разгадать этот ребус ему не позволяло самолюбие, шансов схватить за руку человека, который одновременно мог находиться в разных местах, практически не было. Тоскливое состояние безысходности однажды даже попыталось подкинуть ему идею плюнуть на эти бредни, успокоиться, свалив всё на сверхъестественные силы, мистику. Этого он совсем не мог сделать, потому что был прагматиком и закоренелым материалистом. Внешне он продолжал жить обычной жизнью, но внутренний надлом лишил его уверенности и покоя. «Надо дать воде отстояться, – решил он, – в конце концов, всё как-то должно проясниться.

И однажды его осенило! В голове ярко вспыхнуло: «Логинов! Скотина! Да он же меня за нос водит, за дурака держит! Прикалывается! Он всегда был мастак по части розыгрышей. Ну, мерзавец, ну, подлец, как я раньше не догадался! Фиаско приколота будет страшным. Будет и конец дружбе! Я, в конце концов, следак и сам могу «разводить» людей. Знаю, знаю, как его вывести на чистую воду! Напишу это слово сам, отнесу своё творение Логинову и попрошу сличить его с прежними автографами. И если он мне скажет, что оно совпадает по почерку с прежними словами, получит он от меня по первое число».

В девять утра он стоял у двери кабинета Логинова с листком бумаги, на котором он написал ненавистное слово.

– Вот, – сказал он, – представляешь, в почтовый ящик бросили. Прямо-таки, лоховская эпидемия какая-то. Егорушка, сравни с моими прежними материалами, пожалуйста.

Логинов устало и грустно глянул поверх очков на Протасова.

– Ты бы завязывал, Борис, с этой галиматьей. Крыша может съехать, она и у меня уже съезжать начинает.

Но Протасов насел на друга и тот пообещал ему, что сделает всё через пару дней. Через два дня Логинов положил на стол перед Протасовым лист бумаги, с коротким резюме: «Все 586 слов написаны одной рукой».

Протасов прочитал и расхохотался. Погрозив Логинову пальцем, он весело проговорил:

– Вот ты и попался! Козёл же ты, Егор, редкостный! Тебе, что делать нечего? Долго ж ты надо мной стебался! Последнее слово писал я! Вот этой самой рукой два дня назад на своей кухне. Хороши шутки – друг называешься, забудь, что мы знакомы.

– Делать мне нечего, Боря. Факты – упрямая вещь, – ответил Логин. – Тебе, Боря нужно отдохнуть. Развеешься. Съездить в тёплые края. Ты устал.

– В тёплые края говоришь? Совершеннейшая ты скотина, Логинов, – закричал Протасов и, разорвав резюме, швырнул клочки бумаги вверх к потолку. Выбежал он из кабинета друга совершенно взбешённым.

А дома его ждало сильнейшее потрясение: на его новенькой металлической двери, облицованной под светлый дуб, чёрным маркером кто-то вывел проклятое слово. Протасов простоял перед дверью целую минуту, иступлённо бормоча: «Подлецы, подлецы, подлецы – это вы наипервейшие лохи, мерзавцы и трусы!»

Чтобы оттереть слово пришлось смочить губку ацетоном, после чего на месте слова осталось серая прогалина, портившая вид новенькой двери. Четыре рюмки водки свалили Протасова на диван. Он забылся тяжёлым и беспокойным сном.

В три часа ночи его, будто пружиной подкинуло. Дико ныла голова, через минуту он понял, что в этом виновата не только водка: за стеной его квартиры слышались дикие крики, ругань, плач детей. Протасов недавно поставил соседу пьянице и дебоширу на вид, что он не

потерпит его выходок, и если он, ещё хоть раз, услышит такого рода свару за стеной своей квартиры, он примет суровые меры. Зная, что Протасов слов на ветер не бросает, месяца на три сосед утихомирился – и вот...

Протасов долго звонил в соседскую дверь. Когда дверь, наконец, открылась, расхристаный пьяный сосед, долго изучал лицо Протасова, и, сказав: «Отвалил, лошара», захлопнул перед его носом дверь.

Протасов нашёл в столе чёрный маркер и аккуратно вывел на двери соседа жирное – *лох*. Отойдя от двери на шаг, он полюбовался своей работой, подправил букву Л, добавив ей завиток.

После он, влекомый непонятным порывом, исписал этим словом двери квартир со своего шестнадцатого по третий этаж.

На третьем этаже, зашипев: «Что ж ты делаешь, лошок!» – его схватил за руку крепкий мужчина в пижаме.

– От лошары слышу! – расхохотался ему в лицо Протасов.

Мужчина занёс кулак для удара, но Протасов ещё не утратил милицейских навыков. Он перехватил руку мужчины, вывернул её на излом. Мужчина истошно закричал. Вышли люди, скрутили Протасова, вызвали милицию.

В милиции, в той самой, в которой он много лет прослужил, его часик подержали для приличия в закрытой комнате, после напоили чаем с печеньем, покорили немного. Его уже решили отвезти домой, но он попросился в туалет. Возвращаясь из туалета, он маркером, который у него не догадались изъять, жирно вывел на двери начальника милиции проклятые три буквы. Маркер у него отобрали и вызвали скорую.

На следующий день Логинов пришёл в психиатрическую больницу проведать друга. Он говорил с главврачом и тот сказал, что Протасову ещё нескоро придётся покинуть гостеприимные пенаты больницы.

– Нельзя ли мне увидеть его? – попросил врача Логинов.

– Да ради Бога, – согласился врач. Только не давайте ему ничего пишущего. У нас здесь сплошные лохи-графоманы. Один каждый день в Европейский суд пишет, требует с Чубайса 799900012 евро моральной компенсации за обман народа. Шельма, точно как высчитал! Другой мемуар про Горбачёва строчит, доказывает, что «меченый» был агентом ЦРУ, третий, пишет письма Пан Ге Муну с одной фразой: «Миру – мир, ёш твою тридцать девять». и подписывается Михельсоном Львом Ароновичем, хотя он Иванов Иван Иванович. Ваш, тоже фрукт, ходит тихо и у всех просит фломастер. Зуд у него писательский.

Логинов говорил с Протасовым в коридоре. Тот просил у него карандаш или авторучку, не получив ничего, погрузился и на все увещания друга согласно кивал головой. Логинов просил его образумиться, вернуться к нормальной жизни.

Следующие две недели Протасов ходил по больнице, блаженно улыбаясь, слушая, приглядываясь, а после напросился к главврачу.

Вальяжно усевшись в кресло, он поведал ему о жутких нарушениях творящихся в его скорбном заведении, о которых тот, само собой знал лучше него. Больной не больной, но «следак» он и в больнице «следак». Протасов открыл нарушения, которые прямо попадали под статьи уголовного кодекса. В своей скорбной епархии главврач поставил дело на рыночные рельсы. Среди больных было немало людей здоровых, закоренелых преступников «косивших» под ненормальных. У этих был отдельный рацион, спиртное сигареты и телефоны. Всё это было, конечно же, не «за так», да и сами эти «больные» не таились, бахвалились, что скоро со справкой из «дурки» они выйдут на волю. Кроме всего, неплохие денежки имел главврач и с призывников, которых сердобольные мамы и папы с деньгами отмазывали от службы.

Было и банальное воровство, недовложение продуктов в блюда, побои и много чего противного сердцу Протасова.

Главврач выслушал Протасова и, криво ухмыляясь, вызвал санитаров. Когда те скрутили совсем не сопротивляющегося Протасова, он приказал:

– Вколите этому лоху настоечки смирительной.

Вкололи. Протасов пять дней не мог ходить, поднялась температура, начался жесточайший и болезненный понос. Когда он оклемался, выкрал у плотника, чинившего окна, гвоздь и дверь кабинета главврача украсилась весьма неприятным для него словом. Вкололи «настоечки» три раза. Больше Протасов не бастовал.

Выпустили его через полтора года неузнаваемо постаревшего, бородатого, седого. К двери своей квартиры он подошёл с пакетом, в нём лежали яйца, масло, кусок сала, помидоры и хлеб. Его будоражили радужные мысли о ванной, яичнице на сале, теплом шерстяном халате. Однако попасть в квартиру не получалось: ключ не открывал дверь. Дверь была та же, но замок, по всему, был другой.

Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге возник моржеподобный мужчина в кальсонах, а за его спиной «моржиха» с бананом во рту.

– Те чё надо, лошара? Нажрался, хату не можешь свою найти? – процедил мужчина, окидывая Протасова презрительным взглядом.

– Я собственно... домой пришёл, – промямлил Протасов.

– Чё?! – мужчина повернулся к моржихе и расхохотался, – он, домой пришёл, Тань?!

– Это моя квартира, я был в больнице... вот вернулся, – сказал Протасов, предчувствуя с тоской, что всё это он говорит впустую.

– Эту квартиру мы купили год назад, – пропищала «моржиха». – Хозяин этой квартиры умер, а наследников у него не было. Наш юрист проверял все документы.

– Да нет же! Здесь произошла какая-то ошибка, – безо всякой надежды пробормотал Протасов.

– Умер, я тебе говорю. Умер хозяин этой квартиры, умер, – моржеподобный побагровел, развернул Протасова за плечи и, дав ему крепкого пинка, захлопнул дверь.

Из парадной Протасов вышел, сторбившись, со слезами на глазах. Очнулся он только тогда, когда оказался у кладбищенских ворот.

Потоптавшись у калитки, он вошёл в кладбищенский двор, в центре которого высилось здание администрации, перед которым стояли ряды дорогих иномарок.

Был тихий и тёплый июльский день. Раскидистые ивы клонились над могилами, где-то куковала кукушка, щебетали птицы, воздух был чист, пахло свежескошенной травой. Всё здесь было ухожено, чувствовалось, что здесь уважают порядок и есть хозяин.

Протасов вдруг вспомнил, что на этом кладбище похоронена его жена, а он уже более двух лет не был на её могиле.

Он взволновался и, оглядевшись, засеменил по посыпанной кирпичной крошкой дорожке. Ему нужно было обойти здание администрации, но когда он поравнялся с ним, его окликнул человек с сигаретой во рту, стоящий на крыльце здания:

– Не понял я! Николаич, ты? Какими судьбами? Век тебя не видел. Если гора не идёт к Магомеду – Магомед идёт на кладбище? Ты чего такой понурый?

Протасов узнал Кротова, директора кладбища. Когда-то в 1993-ем году в самый пик разгула бандитизма, у него выкрали дочь. Требовали крупный выкуп, грозя отрезать ей пальцы за просрочку платежа. Кротов обратился за помощью к Протасову, а тот лихо раскрутил это дело. Дочь вызволили из плена, похитителями были люди Лёньки Мороза, крутого и жестокого

мерзавца, наводившего ужас на торгашескую братию. Вознаграждения с Кротова Протасов не взял, на что Кротов сказал ему:

– Мужик! Рад буду видеть тебя в моей ойкумене.

Кротов любил вернуть к месту и не к месту умные словечки или выражения. Протасов тогда, улыбаясь, ответил перекрестившись:

– Свят, Свят, Свят.

Но точку поставил в том разговоре всё же Кротов, резонно сказавший:

– Все здесь будем.

Когда умерла жена Протасова, Кротов ему «отомстил» – не взял с него ни рубля, ни за погребение, ни за место, ни за мраморное надгробие – добро он помнил.

Конечно же, Протасов догадывался, что Кротов, при его блатной должности, не лыком шит и водятся за ним грешки, которые тянут на статью и не одну, возможно. Но он не мог и подумать, что Кротов после освобождения дочери лично расстрелял Лёньку Мороза и пятерых его нукеров, закопав их трупы в соседнем с кладбищем лесочке.

– Николаич! – спускаясь с крыльца и пожимая руку Протасова, – воскликнул Кротов, – Никак ко мне в гости пожаловал? Что-то ты неважно выглядишь.

Протасов, переминался с ноги на ногу, смотрел в землю, молчал. Кротов внимательно оглядев его, участливо спросил:

– Стряслось что-то, Николаич?

Протасов поднял голову и заплакал.

В своём кабинете Кротов напоил Протасова чаем с лимоном и коньяком и, выслушав его историю в кратком изложении, изрёк:

– При современном развитии глобализма усугубляется социальная несправедливость и абсурдическое мироощущение.

Опрокинув рюмку коньяка, он продолжил:

– К сожалению, друг ты мой, сейчас не 93-ий год. Тогда я всяким хитрожопым менеджерам из агентств недвижимости, и тем, кто хаты у людей бедных отжимал, в два счёта мог обеспечить местечко под камнем в моём хозяйстве. Эмпирически это было сделать просто – все мочили друг-друга, как в американских вестернах. Французы говорят, что когда стадо быков задавит человека – искать виновного бессмысленно. Сейчас мы вступаем в новую фазу абсурдной демократии, её законы замешаны на толерантном, то бишь, на педерастическом киселе. Значит, так. Мне нужен сторож. Прежний спился. Будешь жить в прекрасном, хе-хе, бунгало с русской печью, там есть топчан, стол, стул, свет. Получать будешь двадцать тысяч рублей – это нормально, не спорь, не спорь, – это больше, чем твоя пенсия. Будут и премии по ходу дела. Кроме всего, есть работа и по твоей части, хорошо, что я тебя увидел. Нужно одно дельце раскрутить. Кто-то меня подсиживает, спихнуть хочет с насиженного места. Неплохо было бы узнать имя этого лоха, и дать восторжествовать справедливости.

Улыбаясь, он, подморгнув Протасову добавив: «Pereat mundus et fiat justitia» *1

Протасов, согласно кивая головой, спросил:

– Как дочь ваша Настенька?

– Настя-то? Она в городской Думе заседает. Председатель Совета по этике.

– А жена?

– Какая? – хохотнул Кротов. – У меня этих лахудр длинноногих и коротколобых было ... идём, покажу твой особняк. Особняк для «особняка», – скалмбурил он.

Они шли к сторожке тенистой липовой аллеей. Протасов ободрился и успокоился. Неожиданно Кротов остановился и выругался.

– Погоди-ка, – вот же тварюги! Нет у тварей ничего святого! – сказал он, и быстрым шагом прошёл к могилке без ограды, но уже с плитой из тёмного камня.

Протасов пошёл за Кротовым. Побледнев, он устался на надгробие, на котором кто-то мелом кривовато вывел *ЛОХ!* Кротов вырвал из земли пук травы, стёр надпись, и сказал раздражённо оцепеневшему Протасову:

– Знаешь, что объединяет всех лохов? У них у всех один почерк. Последнее время страна стала массово идентифицировать себя в этом качестве.

Послесловие

Протасов жил на кладбище вполне счастливо, ему здесь было хорошо. Каждый день он приносил на могилу жены полевые цветы, подолгу сидел на скамейке, мысленно разговаривая с ней. Между делом он распутал дело, порученное ему Кротовым. Оно оказалось с очень неприятным запахом: захватить кладбище – доходнейшее предприятие, намеревались дочь Кротова со своим мужем владельцем местного пивзавода.

Узнав об этом, Кротов три дня пил, запершись в кабинете. А через некоторое время пивзавод неожиданно сторел, (неполадки в проводке), зять Кротова пропал, говорили, – уехал в Англию, дочь неожиданно сложила с себя депутатские обязанности и стала работать кассиром в одном из магазинов принадлежащих её отцу.

Протасов умер в своей сторожке во сне. Ему приснилась жена, с которой он шёл, взявшись за руки по бескрайнему полю с цветущими васильками. Они шли улыбаясь. Протасову так хорошо было в этом его последнем сне, что он не захотел просыпаться. Когда вспомнили о нём и пришли в сторожку, он лежал на спине, на лице его застыла улыбка.

Кротов похоронил Протасова рядом с его женой. Поставил надгробие из мрамора, на котором было выбито: «Здесь покоится честный человек. Господи, упокой его душу. Ниже со слов Кротова резчик выбил изречение: «Feci quod potuifaciant melilora». *2

*1 Правосудие должно свершиться, даже если погибнет мир.

* 2. Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше.

День к вечеру хорош (Новелла)

4 Июля. – Утром я взял Библию, раскрыл её на Новом завете и начал читать очень прилежно, положив себе за правило читать её каждое утро и каждый вечер, не связывая себя определённым числом глав, а до тех пор, пока не утомится внимание.

В приведённых выше словах: «Призови меня в печали, и я избавлю тебя» – я видел теперь совсем иной смысл; прежде я понимал их, как избавление из заточения, в котором я находился, потому что, хоть на моём острове я находился на воле, он всё же был настоящей тюрьмой, в худшем значении этого слова. Теперь же я научился толковать эти слова совсем иначе; теперь я оглядывался на своё прошлое с таким омерзением, так ужасался содеянному мною, что душа моя просила у Бога только избавления от бремени грехов, на ней тяготевшего и лишившего её покоя. Что значило в сравнении с этим моё одиночество? Об избавлении от него я больше не молился, я даже не думал о нём: таким пустяком стало оно мне казаться. Говорю

это с целью показать моим читателям, что человеку, постигшему истину, избавление от греха приносит больше счастья, чем избавление от страданий.

Даниэль Дефо «Робинзон Крузо»

Декабрь 1997-го. Питер.

– Слышь, Сохатый, почему улица Институтской называется? – передавая папиросу короткостриженному, с крепкой шеей парню, сидящему на переднем кресле, спросил Татарин. Он был русским, а кличку Татарин получил за чернявость, скуластость и раскосость тёмных с пьянинкой глаз.

Сохатый принял папиросу, сделал пару затяжек, задерживая в лёгких дым и передавая папиросу водителю, ответил, откидываясь расслабленно на спинку сиденья:

– А здесь, братан, тихий район еврейской бедноты. Они ж все грамотные, учёные, профессоры, доценты, по два института позаканчивали, привыкли жить с комфортом. Все эти дома вокруг кооперативные, эти шустряки всегда деньги умели клепать. Покупали и квартиры и машины, когда ты на трамвае ездил за три копейки. Здесь в парке, – прямо смотри, дубина, – Лесная Академия, да и вообще всяких научных институтов в этом районе навалом, оттого и Институтский, наверное.

По салону машины плавал густой конопляный дым. Говорившего звали Олег, Сохатый была его фамилия. Кличку ему не пришлось придумывать, сгодилась фамилия.

– А этот, которого мы прессовали, тоже типа еврей? – то ли спросил, то ли резюмировал Татарин.

– Похоже. Хату продал, на родину предков собирался, – Сохатый закрыл глаза. – Где ты такую славную «дурь» купил, Татарин? Хороший «план», раздумчивый, башню не сносит и успокаивает, только жрать сильно захотелось.

– У азеров в кафе на Просвете. Кстати, можем к ним заехать сегодня. У них шашлыки хорошие, и супчик национальный обалденный в горшочках с горохом и бараниной, а заодно ещё «дури» прикупим, – ответил Татарин, закуривая сигарету.

Водитель докурил папиросу, выбросил её в окно. Оскалив зубы, быстро глянул в зеркало заднего вида на Татарина, ухмыльнулся.

– Морду его видели? Зрачки скакали, ужом блин вертелся. Ещё и обосрался, кажется, такая вонь стояла.

– И ты бы вертелся, если тебя утюгом по брюху погладить, – пробурчал Татарин

– Я бы до этого не доводил бы. Горло бы перегрыз, молотил бы чем попало, что под руку попадётся.

– Ну, это как карта бы легла, Сахалин. Попал бы на конченных отморожков, замочили бы тебя и дело с концом, – зевнул Татарин.

– Ты бы, бабки пересчитал, Татарин, – проговорил водитель, которого Татарин назвал Сахалином.

– А чё их считать? Всё, как Светка-риэлтертша сказала. Лошок ещё ничего не успел потратить. Вот они две пачки, по десять штук в каждой, – похлопал себя по карману куртки Татарин. – Десять процентов Светкины, остальное наше.

Сахалин пожевал губами и раздумчиво проговорил:

– Пацаны, это ж две тысячи баксов. Не жирно ей будет? Может, дадим шалаве полторы штуки, скажем, что клиент уже потратил пять штук? Мы рискуем, а ей такие бабки с воздуха ломятся.

В машине повисла продолжительная неловкая пауза. Сохатый смотрел, наморщив лоб в окно, Татарин громко сопел. Как-то неуверенно он произнёс:

– Слушай, Сахалин, не в жилу как-то. Тёлка ценная, потеряем классную наводчицу.

– В натуре, Сахалин, она ж не дура. Рюхнет, что кидают её. Без наводчицы работать будет трудно. Слышал такое выражение – информация решает всё? – поддержал Татарина Сохатый.

– Добренькие, – передёрнул плечами Сахалин. – Задницу шалава просиживает в офисе. Хату купила на Васье уже и тачку. Не жирно будет шалашовке?

– Не жадничай. Мы ж не в накладе. Пока всё катит, будем по старым фишкам играть, а там видно будет, – ответил на это Татарин.

И, помолчав немного, сказал повеселевшим голосом:

– Ну, что разбежимся ненадолго, как договаривались, передохнём от трудов праведных? Опять на острова махнёшь, Сахалин?

– Не решил ещё куда, – ответил Сахалин. – Хочу на необитаемом острове побывать. Смотрел кассету недавно про Галапосовы острова. Прикольно там, хотя и без комфорта. На Кубе тоже клёво. А может, вообще, в Австралию ломанусь. Это тоже остров, только большой.

– Смотри, чтобы кенгуру там копытом не отоварил тебя по хозяйству, – хохотнул не к месту Татарин. – За матушкой-то не соскучился? Чё домой на пару деньков не смотаешься на свой родной остров?

– Чё там делать? – пожал плечами Сахалин. – Бухалово, нищета. Переводы матери шлю. Она таких денег в жизни в руках не держала. Пишет, соседи все иззавидовались, бегают к ней подзаныть. С каким-то хмырём сошлась. Говорит, мол, работающий. Работающий – это значит, дров наколоть может, гвоздь забить, и пьёт не больше литра в день.

– А папашка твой загнулся? – спросил Татарин.

– Издох, – кивнул головой Сахалин. – После третьей отсидки пришёл с туберкулёзом, с порога матери в торец врезал, типа хозяин вернулся. Я его тогда отметелил, неделю не вставал конь с кровати. Наказал ему мать не трогать больше. Успокоился, зверёк. Мать, дура, обиделась на меня, грех, типа, на отца руки подымать. Через месяц откинул копыта. Инфаркт. То ли от тоски, то ли от безнадёги мужиков наших поселковых магнитом в зону тянет. По два, по три срока многие отмотали. Ладно бы, по-крупняку чего. А то челюсть своротят кому, ножом пырнут, своруют на пропой, по пьяни грохнут кого, снасилуют. Не уедь я с острова, тоже когонибудь пришил бы. Или спился бы.

– Короче, как Робинзоны на необитаемом острове живёте. А матери о работе своей, что пишешь? – Татарин ехидно ухмыльнулся.

– Менеджером говорю, работаю, – хмыкнул Сахалин.

Татарин расхохотался.

– Менеджером по горячим утюгам! Прикольно.

Сахалин на это ничего не возразил. Он пристально глядел в лобовое стекло, с задумчивым видом.

Татарин отвернулся к боковому стеклу:

– А мой, после последней отсидки тихим стал. Всё молчал, улыбался всем, особенно детям. Ходил тихо, тихо. Чёнибудь делаешь, подкрадётся сзади и наблюдает. Обернёшься – он улыбается, стоит, а улыбка, как у дурика. Крыша съехала у старика. Мать говорила, что он типа тоскует от того, что мать свою не похоронил. Он тогда сидел, а когда вышел, поехать на могилу не смог. Это далеко, в Архангельске, денег не было. Потосковал он так пару месяцев, а потом новому участковому башку проломил, за то, что тот паспорт потребовал показать. В зоне и помер.

– Наша белая кость, – усмешливо глянул на понуро сидящего Сохатого Сахалин, – с паровым отоплением жил, как дрова колоть, да в ватнике мёрзнуть не в курсах – Колись, Сохатый, папаня подводником заслуженным был или солистом в балете?

– Подводником, – зевнул Сохатый, – это маманя тюхала мне про отца подводника, который типа утоп, выполняя важное правительственное задание. Я его и не видел никогда. Бабуля, когда мать умерла, рассказала, что аферюга он залётный, карманник сухумский. Свинтил от

нас, когда я на свет Божий явился. Подкатился к матери, она красивая была. В библиотеке Морского клуба работала, мы тогда на площади Труда жили. Я в школе постоянно дрался из-за этого «подводника». У всех отцы были, а я всё, как дурак доказывал всем, что мой скоро из плавания придёт, и мы с ним на рыбалку поедem. Пацаны вечно меня подковыривали. А... тошно вспоминать. Сахалин, а что тебя всё на острова тянет?

– Не знаю. Я пацаном всё про острова читал, про пиратов, про Робинзона любил. Не мог поверить, что такие острова есть, на которых всегда лето, фруктов завались, люди в шортах ходят круглый год, тётки полуголые. Да и, вообще, на островах люди по-другому живут, никак в городах, где до моря добраться три дня ехать нужно. На острове, куда ни пойдёшь, придёшь опять к морю. А море я люблю. Там воздух совсем другой. Не знаю, как сказать, но тянет меня всегда, хрен знает почему...

– Я про Робинзона в школе читал, забавной сказкой показалось, после в монастыре перечитывал. В монастыре всё по-другому прочитывается. Ладно, островитянин, – усмехнулся Сохатый. – Будь на связи.

– А ты, Татарин, куда? Хотя, хочешь, скажу, что ты будешь делать? – повернулся к Татарину Сохатый.

– Блин, чтобы это угадать, две головы не нужны. В Васкелово. Надо прораба отрихтовать. Донесли мне, что ворует он, падла, стройматериалы и тянет резину специально, чтобы с меня побольше вытянуть.

– Определились, – сказал Сохатый. – А я в Ессентуки поеду. У меня камни в жёлчном пузыре. Нужно здоровье поправить.

Он выбросил сигарету в окно. Помолчав, сказал:

– Я недавно в монастырь ездил, в котором год тасовался, когда от наркоты отбивался. Что-то так тяжело стало на душе. Батюшку Иоанна хотелось увидеть, он реально мне помог тогда с героина соскочить, маленько денег ему подкинуть решил. Службу отстоял, но причаститься и исповедовался не смог, спрятался в толпе. Но батюшка усёк меня, увидел, расспрашивал о жите-бытие моем. Ну, а я, что? Гнал пургу. Не расскажешь же всего. Но он, чего, дурак? Прожигал меня глазами, видно было, что не верит мне. А я ёжился. Он меня под руку взял, в угол отвёл, нужно, мол, тебе исповедаться.

– Ты, чё, в натуре, исповедовался? Всё ему рассказал? Он же вложить тебя мог! Попы на ментов сто процентов работают, – встрепенулся Татарин.

– Дурак ты, Татарин, не положено священнику закладывать. Ты знаешь, сколько дерьма он выслушивает от людей? И за всех должен молиться, молиться за чужие грехи.

– Так рассказал? – пристал Татарин.

– Всё не смог. Про дела наши не смог. Рот будто склеивался. Хотя нужно было бы сказать – легче бы стало на сердце.

– Типа чистосердечное признание облегчает вину преступника, – сказал Сахалин, и они с Татином рассмеялись.

– Чего смешного-то? – разозлился Сохатый. – Чего стебётесь? Это пока всё у нас в порядке весело. Но так всегда не будет. Батюшка нам в монастыре одно твердил: день к вечеру хорош. Понимаете? Вот станут нам сниться клиенты наши, что тогда?

– День к вечеру хорош, если в «лопатнике» деньжата шуршат, – хохотнул Татарин, – чё это нам сниться должны лошки всякие?

– Дубина ты, – нахмурился Сохатый.

– Слушай, Сохатый, вечно у тебя, как хорошей травы подкуришь, «гонки» начинаются про совесть и моральный кодекс строителя коммунизма. Я лично сплю спокойно. И не такое народ сейчас делает. Народ вообще изгаляется сейчас друг перед другом, кто пострашней чего сотворит. А я никого не убил пока. Хотя могу, если прижопят. Но я не маньяк, ни пидор, ни педофил, ни депутат, не сатанист, с матерью своей не сплю, – сказал Сахалин.

Сохатый будто не услышал этого возражения Сахалина, он опять заговорил, глядя немигающим взглядом в окно:

– Я объясню популярно. Батюшки Иоанн всегда всё с намёком говорил, чтоб думать начинали. Как-то про святого Петра рассказывал. Помните, мы фильм смотрели на Рождество про Иисуса? Когда они сидели за столом Иисус Петру сказал, что тот его предаст. Типа, не успеет петух два раза прокричать, как он отречётся от него. Тот обиделся, мол, никогда этого не будет, но когда стали допрашивать его жида, в натуре, в отказ ушёл, зассал, сказал, что знать не знает Иисуса. Так батюшка мне рассказал, что этот Пётр после того, как Иисуса распяли, не спал до конца своих дней, потому что его петух всегда будил, напоминал ему о его подлянке. Вот... как бы нас не стали наши клиенты будить... меня и сейчас иногда будят...

– В натуре, что ли петух орал? – спросил Татарин.

– В арматуре. Ты туповатым, братан, не прикидывайся.

– Ну, я ж не в культурной столице родился, в глухомани, где нам крестьянам понять, – обиженно поджал губы Татарин. – А Иисус, я не понял, что тоже евреем был?

– Ну, а кем же? Чеченом, что ли? – раздражённо бросил Сохатый. – Они все там евреями были.

– И чё они на него наехали? Он за чудеса бабок не брал, никого не кидал.

– Они думали, что он царём у них станет. Они тогда под римлянами были, ну и думали, что если он крутой, раз такие чудеса творит, то и римлян прогонит. А он им другое говорил. За жизнь, короче, объяснял. Ну, а священники жида зассали, что он народ перебаламутит, ну и решили его кончить.

– А у нас, что не так? Вчера народ орал: «Бориску на царство!», а теперь орут: «Предатель». А сам Бориска, кидала знатный, клялся, что под трамвай ляжет, если народу плохо жить станет при нём. И чё? Всех кинул. Да сейчас все кидалами заделались. Сегодня ты дружбанишь, водку с корешем пьёшь, а завтра он тебя кинет легко, с чистой совестью, – выпалил Татарин.

– Я вот чего сказать хотел, – опять закурил Сохатый, – с людьми всякое случается. Бывает, щёлкнет в башке какой-то выключатель и – добро пожаловать в «дурку», или ещё хуже: верёвку быстренько дядя мылом натрёт и пожалует к тому самому Петру на небо, а куда там тебя определить могут за твои земные подвиги, страшно даже подумать. .

– Хреновые у тебя дела, братан. Как бы нам в натуре передачи не пришлось бы носить тебе в дурку. Точно говорят: кто на героине сидел, у того крыша съезжает навсегда, – сказал Сахалин.

Сохатый не ответил Сахалину. Они въехали на Тучков мост, поплелись в пробке. .

Сахалин включил радио, покрутил ручку настройки, прибавил звук, стал напевать вместе с певцом: «Таганка, я твой бессменный арестант...

Сохатый, ни с того, ни сего, вдруг сказал:

– Пацаны, а вам в натуре нравится свобода такая? Работа наша? Вот, ты мне скажи, Татарин... ты иногда очень хорошо базаришь, какие-то у тебя просветы в башке твоей дубовой классные проясняются. Сахалина не спрошу – с ним всё ясно: кроме денег у него в голове ничего нет.

– Люблю. Можно подумать ты их не любишь, – промычал Сахалин, прервав на мгновение пение.

Татарин видимо не обижался на колкости Сохатого, пожал плечами.

– А чё делать? Голодать и в рванье ходить, бутылки собирать? Одним хорошо жить можно – другим нельзя? Чё сам не видишь беспредел какой? Полоса, значит, такая пошла в стране: сам говорил, что в жизни бывают чёрные и белые полосы. Всем сейчас всё по барабану. Делай бабки кто, как может. Зевнёшь – затрут тебя на обочину, скинут, обойдут и забудут. А клиентов мне наших совсем не жалко. Не-е, не жалко. Я даже какой-то кайф ловлю, когда морды им разбиваю и по почкам дубасю. Они, суки, только на них замахнёшься, тут же от страха усира-

ются. Они-то больше всех этой свободы хотели. Чтобы баксы в кармане шуршали, мечтали, что б у нас, как в Америке стало. Первыми проголосовали за Борю алкаша и всю братию пидарастическую. Получили и свободу и доллары, и нас довеском, пацанов, которые доллары эти у них отжимают. А как же? Хотели, чтобы по-другому было? Где-то убывает – где-то должно прибывать. Нет, правда, я, когда прессую этих тварей в их квартирах с мебелью, телевизором и ванной, в которых они совсем не херово жили при комиссарах – кайф ловлю. Суки, ходили на работу, в санатории ездили, на картошку, в комсомол и партию вступали, на своих машинах спокойно разъезжали, никто на них не наезжал, хаты не отбирал, где там тот народ, чем он живёт, как кормится – они и духом и тогда не слыхивали. Булку белую жевали, народом выпеченную, а сами камень на него за пазухой носили. Кинули страну, заорали радостно: свобода, свобода, свобода и народ туда же. Свобода, блин! Дочь у него ушла в проститутки, сын колоться начал, жена учительница полы в парадной моет за рупь двадцать, отец ходит бутылки собирает, «трёшку» его бандюги отбили, а самого в коммуналку определили! Сидит он теперь свободный и безработный на кухне, пьёт чай спитой и в окно смотрит на мусорный бак, в котором свободные бомжи роются, а на баке юные скинхеды написали: «Смерть Гайдару!» А по телеку в это время слюнявые хмыри продолжают вопить: «Мы с Америкой, или нет?!» Разводят лохов. Блин, с Басаем и Радueвым целая армия разобраться не смогла, город целый, твари, захватили. На роддом посягнули, на беременных женщин! Не прибили козлов сразу – получили войну. Такие товарищи, как «Берёза» и вся эта кодла жадная с ним, что хотят то и творят.

Татарин, раздражённо махнув рукой, замолчал, видно было, что этот монолог его утомил.

Сохатый переглянулись с Сахалином и расхохотались, как люди знающие, что их товарищ, иногда может выдавать перлы такого революционного рода.

– Вот такого я тебя люблю, Татарин, – сказал Сохатый, оборачиваясь к нему. – Бродит, бродит в тебе революционная закваска. Ты случайно в скинхеды или к нацболам не записался?

– Скажи ещё к Жириновскому. Вот кого бы я попрессовал с удовольствием. Умело базарит, маромой, разводит народ по-научному, – усмехнулся Татарин

– До него нам не добраться, – усмехнулся Сахалин.

– Не, можете считать меня шизиком, пацаны, – сказал Сохатый, – но думать всё же надо. В городе народ на иномарках пересаживается, быстро всё меняется. Нужно делом, каким нибудь стоящим заняться. С утюгами завязывать нужно. Хотите, верьте, хотите, нет. Батюшка Иоанн говорил мне что все, что сейчас происходит в Библии предсказано, и всё это кончится концом света голодом, войной и чумой.

Сахалин ухмыльнулся:

– Что ж тогда переживать? Если всё Богом предсказано? Если Бог знал, что такая пьянка будет, а нам в это время пришлось жить, то никакой и вины на нас нет. Бог-то сам всё устраивает. Значит, и нас он определил, куда ему надо. Не сами мы занялись этим с бухты-барахты. Других ведь он определил в депутаты, третьих в пидоры, четвёртых в банкиры, во владельцев гипермаркетов и заправок.

Сохатый ответил быстро:

– Никто нас не определял. У человека свободная воля есть. Тебя, что Бог заставил этим заниматься? Бог никого не заставляет и не определяет. Человек сам выбирает, не все же пошли в бандиты? Он попускает, понимаешь. Проверяет, как ты поступишь. По грехам нашим нам и даётся ...

– Да брось ты – по грехам! Чего ж Бог этот не возьмёт и не накажет всех грешников заранее: он-то вперёд знает, что они будут творить? Что он проверяет? Сколько они замочат людей, сколько детей изнасилюют, сколько от наркоты передохнет пацанов? Пусть сразу порядок и наведёт. Козлов на место поставит. Вора руки поотрубает, депутатам zenки наглые выколет, Басаева с Березовским молнией пришибёт; пусть оставит людей хороших – ему же легче на сердце будет. Нет, он одних людей голодать заставляет, а другим даёт столько жрачки, что они

в мусор её выбрасывают. Любишь ты, Сохатый, сопли разводить, у тебя, наверное, на наркоте крыша точно съехала. Такие умные речи заводишь, а сам денежки грешные не меньше моего любишь. Ведь и сегодняшние бабки возьмёшь после проповедей своих. Слабо всё бросить и в монастырь на картошку и квас уйти, а деньги в детский дом отдать. Или мне.

Он расхохотался.

Сохатый побледнел, быстро закурил, пальцы его подрагивали.

– Это мысль хорошая. И я в последнее время часто об этом стал подумывать.

В машине на некоторое время наступило молчание. Посыпал снежок, вползали зимние сумерки, перемаргиваясь, загорались уличные фонари, на Малом проспекте движение было нормальное. Татарин дремал, Сохатый откинул голову на подголовник, прикрыл глаза, веки подрагивали. Иногда он открывал глаза и поглядывал на дорогу. Один раз, не поворачиваясь к Сахалину, с закрытыми глазами повторил:

– Сахалин, не гони так, очень быстро едешь.

Сахалин повернулся к Сохатому:

– Чё зассал? Жить хочется? Бог же всё определил – чему бывать того не миновать. Живы будем, не урём...

Этого момента, когда он перестал контролировать дорожную ситуацию, оказалось достаточно, что бы торможение в случае внезапной чрезвычайной ситуации стало бесполезным. Машина на большой скорости приближалась к светофору, на котором уже закончил мигать жёлтый и загорелся красный. На пешеходную дорожку уже ступила молоденькая беременная женщина. Придерживая большой живот руками, она медленно, покачиваясь как утка, двинулась по нему.

– Тормози, Сахалин! – выкрикнул, привставая, Сохатый.

Сахалин заторможенно повернулся к лобовому стеклу и только успел выругаться.

Звук удара был глухим, женщину откинуло в сторону. На заднем сиденье открыл глаза Татарин, недоумённо спросил:

– Чё это было?

Сахалин ему не ответил, он, вывернув голову, немного сдал назад. Седой мужчина подбежал к лежащей женщине, стал на корточки и приложил руку к её шее, после подбежал к водительской двери, закричал: «Звоните в «Скорую», ещё есть шансы!» Но Сахалин неожиданно вжал в пол педаль газа и рванул вперёд.

– Ты что творишь?! Это неоказание и отъезд с места происшествия, – закричал Сохатый.

– Бог не выдаст – свинья не съест. Тачку бросим у метро Приморской с открытыми дверями. Часа через два-три позвоним в ментовскую, заяву оставим, что угнали нашу машину.

– Свидетелей полно, и мужик седой срисовал нас, – уныло сказал Татарин.

– Херня, – ответил Сахалин. – Большинство разбежится и в молчанку сыграет. Ментов «подогреем», к свидетелям в гости ходим, они от всего и откажутся, как тот Пётр, которому петухи спать не давали.

Уже когда они, оставив машину, ехали в такси Сахалин спросил у Сохатого:

– А чё это значит, в натуре, день к вечеру хорош?

– А ты подумай, – ответил Сохатый угрюмо.

Доктор Дробышев

Иван Павлович приезжал домой поздно, не раньше восьми часов вечера. Больница, в которой он работал, была в Весёлом посёлке, а жил он на Василевском острове. Иногда он ездил на работу на метро, но чаще на своей «семёрке». Сегодня он попал в пробку, и подъехал к своему дому в десятом часу вечера.

Припарковавшись, он устало шёл к подъезду, обходя грязные отвалы снега. У подъезда, из «Мазды» с тёмными стёклами, вышли двое мужчин и перегородили ему путь.

– В чём дело? – раздражённо спросил он у них.

– Слышь, доктор, отойдём в сторонку, – сказал ему Татарин, и бесцеремонно и крепко взяв его под руку, повёл за дом. Сахалин шёл сзади. Иван Павлович не упирался, он понимал, что, силы не равны, артачиться было бесполезно: ему пятидесятилетнему против двух крепких молодых мужчин не сдюжить, но и страха у него не было вовсе. Зачем эти двое поджидали его, и что им от него нужно, он догадался, даже примерно представил себе, что сейчас будут говорить эти двое.

Ему было тоскливо, стыдно и противно, от того, что придётся этим подонкам уступить: такие слова на ветер не бросают. Свернув за угол, Татарин остановился и, повернувшись к Ивану Павловичу, некоторое время, молча его рассматривал, играя желваками. Сахалин остался стоять сзади, – он дышал в затылок Ивану Павловичу винными парами.

– Слышь, доктор, – прервал молчание Татарин. – Завтра тебя к следователю вызывают, так? Во-первых, не опаздывай – дело это серьёзное, во-вторых, когда тебе нас будут показывать, засомневайся: они это или не они, сомневаюсь, мол, я, скажешь. Человек я немолодой могу и ошибиться. А в оконцовке скажешь: нет, товарищ следователь, не они это, не они. Те пониже ростом были, и вроде кавказцы, понял?

– А номера машины вашей, я ведь в протоколе их записал? Их я тоже из немоги моей старческой напутал? – с ненавистью глядя в лицо Татарина, спросил Иван Павлович, страдая от своего бессилия.

– Машина? Номера? – удивлённо сказал Татарин. – Не, доктор, машина наша. Её какие-то гады угнали. Спасибо родной милиции, что нашли.

Иван Павлович живо вспомнил лицо следователя и его, будто остановившиеся рыбы глаза. Он был такой важный, серьёзный, так учтиво и любезно с ним говорил, но после допроса Ивана Павловича долго не покидало чувство, что весь допрос был пропитан фальшью, что всё это фарс, а он вынужденно участвует в дурно пахнущим спектакле.

«Купили, мерзавца, уже всё купили», – с ненавистью глядя в спокойное лицо Татарина, думал Иван Павлович и, проглотив подступивший к горлу комок, неожиданно севшим голосом произнёс:

– А если я откажусь, вы меня искалечите, жену повесите, внучку изнасилуете, дочь утопите в Неве, квартиру отнимите, а моей таксе оторвёте голову?

– Типа того, – хмыкнул Татарин, – только ты ещё забыл, что у тебя внучек есть Никитка, – ответил Татарин.

Иван Павлович вскинулся. Его вдруг охватило непреодолимое желание плюнуть в лицо этому негодяю, который нагло смеет говорить о его самых близких и родных людях, а потом бить его, бить до тех пор, пока силы не покинут. Словно почувствовав настрой Ивана Павловича, Татарин сделал шаг назад и спросил с интересом.

– Ты никак, доктор, быковать собрался?

Иван Павлович мотнул головой, обернулся к Сахалину, стоящему с резиново-непроницаемым лицом и повернулся к Татарину.

– Что ж вы, господа, со своим собственным народом войну ведёте? Тебе же парень ещё и тридцати нет, а ты набрал в себя уже столько дряни, что рано или поздно в ней утонешь. Неужели ты не знаешь, не слышал никогда, ни думал о том, что есть суд Божий Суд, что ничего не исчезает бесследно и обязательно придётся за всё отвечать? Или безродные вы, ни от матерей родились?

– Чё-ё-ё? – протянул гнусаво Татарин, невольно краснея. – Не понял я: ты, чё, лекции нам надумал читать об облике моралэ?

– Может ему аванс выдать, чтобы посговорчивей стал? – надвинулся на Ивана Павловича Сахалин, но Татарин придержал его.

Иван Павлович глухо ответил, не отводя глаз с лица Татарина:

– Ну, скажем так, никакие авансы не изменят моего мнения о таких, как вы. Я – врач, и не спрашиваю у людей, спасая их жизни, бандиты они, простые обыватели, христиане, атеисты, буддисты, богатые или бедные. И если завтра кто-то из вас попадет на операционный стол, за которым буду стоять я, обязан буду делать всё возможное, чтобы спасти вашу жизнь. Но сейчас меня посетило гадкое чувство, что не стоит спасать жизнь таких, как вы, спасать жизни тех, кто сам готов в любой миг лишиться жизни других людей ради своих гнусных целей. Впрочем, знаю, что я этого никогда не сделаю, и я уже сейчас стыжусь, что мог так подумать. Но вы трусы, цепляющиеся за свои жалкие жизни.

Сахалин прошипел:

– Ты что нам впариваешь? Ты чего нарываешься?

Он хотел ткнуть Ивана Павловича кулаком в бок, но тот перехватил его руку, отодвинул его сторону, тихо сказав:

– Дай пройти. Завтра в одиннадцать увидимся у следователя.

Сахалин оторопело произнёс:

– Так ты понял, что мы тебе объяснить хотели, или нам ещё раз к тебе приехать?

Иван Павлович, ничего ему не ответил. Не оборачиваясь, двинулся к подъезду.

– Надо было всё же выписать этому доктору пару горячих, – прошипел Сахалин, провожая взглядом спину Ивана Павловича.

– Он, конечно, скажет, как нам надо. И сильно же он нас ненавидит! Правильно ненавидит, вообще-то, Сахалин. Путёвый, крепкий мужик, – возразил ему Татарин раздумчиво. – Не надо было ему только впрягаться в эту лабуду. Сам виноват не просёк тему, Робин Гуд.

В машине, за рулём которой был Сохатый, подельники закурили. Сохатый ничего, не спрашивая, выскочил со двора на проспект, резво погнал машину, умело лавируя в плотном потоке машин. Сахалин, помолчав, сказал громко:

– Пацаны, майор меня опять доставал, звонил сегодня.

– Чего надо? – спросил Татарин, сидевший с задумчивым выражением лица.

– Мол, ещё десять штук нужно добавить, чтобы дело окончательно притормозить.

В машине повисла долгая и тяжёлая пауза. Нарушил её Татарин.

– Не скажи сейчас, что нам опять скидываться надо. Мы просили тебя не гнать. А ты выделывался, лихач. А теперь вместо того, чтобы делами заниматься, мы кормим этого майора Бойко из-за твоего гонора. Про наши заработки мы всё знаем, они у нас равные, вместе их добываем. Мы тебе из «общака» нашего конкретно и очень неплохо помогли. Давай дальше, братан, сам шевелись. Если ты, куда-то определил свои бабки, и нету свободных, то, пожалуйста, в долг я дам тебе с удовольствием. Это, думаю, будет справедливо. Мне дом нужно достраивать.

Ничего не возразил на это Татарину Сахалин, только посмотрел на него долгим взглядом. И столько в этом взгляде было ненависти и злобы, что, Татарин, заёрзав на сиденье и, поёжившись, пробормотал:

– Ты чего, Сахалин?

Дверь Ивану Павловичу открыла жена. Он хотел улыбнуться, но вместо улыбки вышла болезненная гримаса.

– Ты, не приболел ли, Ваня? – встревожилась жена и потрогала ладонью его лоб.

Иван Павлович схватил руку жены и, жадно поцеловав её, обнял жену, крепко прижал к себе и долго не отпускал.

– Ванечка, Ванечка, – тихо шептала жена, поглаживая нежно мужа по его седым волосам, сердцем почувствовав запредельное нервное состояние мужа.

Они долго так стояли, обнявшись, потом жена, не расспрашивая его ни о чём, кормила. Он попросил водки и выпил гранёный стакан.

Часа в три ночи жена Ивана Павловича проснулась от странных звуков. Она включила ночник и увидела, что её муж, уткнувшись лицом в подушку, плачет, вздрагивая всем телом.

Прасковья Ивановна

Когда кладбищенские рабочие закрыли крышку гроба и взялись за молотки, Ирина Владимировна, которую с одной стороны поддерживал муж Александр Иванович, а с другой стороны сын, высокий парень в морской форме с курсантскими нашивками, вдруг сдавленно вскрикнула: «Доченька моя», – и с остановившимися глазами, оттолкнув мужа с сыном, как слепая шагнула вперёд, упала на гроб, обняла его и затряслась в рыданиях.

Она лежала, как подбитая большая чёрная птица, с бессильно раскинутыми сломанными крыльями, кровь которой пропитала и окрасила последний приют её дитяти в кумачовый цвет.

Муж с сыном хотели, было, поднять её, но сухонькая, маленького росточка, аккуратненькая старушка, одетая во всё чёрное, придержала их. Муж Ирины Владимировны, крепившийся до этих пор, вдруг резко закрыл лицо ладонью и плечи его затряслись. Пятидесятилетний мужчина в один миг превратился в трясущегося старика с помертвевшим серым лицом. Он также резко отнял ладони от глаз, и немигающим взглядом уставился на вздрагивающую спину жены, слёзы текли по его небритому лицу. Сын с растерянным и сокрушённым видом стоял рядом, а старушка тихо поглаживала мужчину по спине. Старушка эта доводилась Александру Ивановичу старшей сестрой и приехала на похороны из Чернигова. Звали её Прасковья Ивановна.

Рядом с Александром Ивановичем стояли с поникшими лицами его сваты: Мария Фёдоровна с заплаканным лицом, Пётр Аркадьевич и их дочь с мужем. Сына Дениса на похоронах не было. Он находился в плавании и ничего ещё не знал о смерти своей беременной жены.

Шли тягостные минуты, Ирина Владимировна, лежала обессилено на крышке гроба, женщины, пришедшие, на похороны тихо плакали, мужчины стояли, опустив головы.

Наконец, Владимир Иванович подошёл к жене и что-то ласково ей, нащёптывая, попытался поднять её, на помощь ему пришёл сын. Она смотрела на мужа и на сына не понимающим взглядом, будто видела их в первый раз и, сделав пару шагов, обмякнув, стала оседать к земле.

Врач, который был рядом, быстро подскочил к ней и заранее припасенным шприцем ловко сделал ей укол в руку. Вездесущая Прасковья Ивановна подошла к брату, тихо проговорила: «Саша, Иру надо отправить домой. Ей нужно лечь в постель, я поеду с ней, присмотрю за ней, пусть врач поедет с нами. Ты поезжай с людьми на поминки, тебе нужно там быть».

Ирина Владимировна у машины пришла в себя, стала упираться, но старушка посмотрела ей в глаза и она покорно села на заднее сиденье машины. Прасковья Ивановна, взяла её руки в свои морщинистые сухие, в старческих кофейного цвета пигментных пятнах высохшие ладони и через некоторое время Ирина Владимировна закрыла глаза.

Дома Прасковья Ивановна уложила сноху в постель, накормила врача, внимательно глядя в его глаза, поинтересовавшись у него вскользь о его семье и житье-бытье, до прихода брата она сидела у постели Ирины Владимировны.

Когда врача решили отпустить домой, проводить его вызвалась Прасковья Ивановна. Уже у входной двери, она, поправляя ему шарф, спросила:

– Так ты, сынок, говорил, что у тебя двое детей?

– Дочь и сын, – кивнул головой врач.

– Дай-ка, мне твою руку, хлопчик, – сказала Прасковья Ивановна.

– Зачем это, бабушка? – удивлённо сказал врач, но руку безропотно протянул.

Прасковья Ивановна долго держала его руку в своей, и он, не выдержав, улыбнулся:

– Пульс измеряете?

– Пульс, – отпуская его руку, ответила Прасковья Ивановна, – сына твоего бесы в оборот взяли. Разве сердце твоё и голова ничего не говорит тебе? Ты же каждый день с ним видишься. Ничего неладного не замечал? Как врач хотя бы...

Врач удивлённо посмотрел на старушку:

– Что вы имеете в виду? Вы, мне хотите сказать, что он болен?

– Болен. И ещё не поздно вылечить. Ты вещи его проверь, руки давно видел?

Врач побледнел. И вдруг ошеломлённо, после паузы, во время которой Прасковья Ивановна смотрела ему в лицо, спросил:

– Наркотики?

– Не знаю, – ответила старушка. – Но бесы крепко вцепились в него, тянут его душу в свой омут. Помоги ему, сынок. Время такое скверное теперь, кругом они, бесы, а кто ж кроме родителя сейчас детям помогать должен? Жалкие они деточки нынешние, нету у них корня крепкого, а соблазнитель мерзких тьма кругом. И ты сам... зачем пьёшь? В твоём роду много было пьющих, не один от пьянки сгорел, а это знаешь, страшная вещь умереть без исповеди и причастия в пьяном виде.

Врач опустил голову. Он размышлял и заметно нервничал. Когда поднял голову, ответил нервно:

– Спасибо, мать. Что-то я, в самом деле, перестал за забор заглядывать, поплыл по течению без вёсел и руля. Неужели с сыном моим... всё так плохо?

– Ты в храм сходи, и мне позвони, когда разберёшься – я тут надолго теперь приткнусь. Молиться буду за тебя и твоего сыночка. Как его зовут-то?

– Кириллом.

– Имя хорошее, крепкое. Ни Вольдемар и не Днепрогэс, – сказала старушка. – Иди с Богом, сынок.

Она перекрестила врача и он, усталый, бесприютный, давно похоронивший самых любимых своих людей мать, отца и сестру с братом, живущий с женой, от которой уже давно не видел ни ласки, ни утешения, ни человеческого участия, а одно лишь порицание и обвинение в неумении жить, медленно и неуклонно сползающий в пропасть безразличия и тьмы, в которой уже не было ярких красок, а преобладал один серый цвет, вдруг обнял порывисто это маленькое тщедушное тельце, а Прасковья Ивановна поглаживала его по спине, а губы её беззвучно при этом шептали молитву.

Заседание суда закончилось, когда стемнело. Пострадавшую сторону представлял Александр Иванович. В самом конце зала сидела отдельно от брата Прасковья Ивановна. Всё проходило рутинно, скучно, с несколькими длинными перерывами. Представитель прокуратуры отбубнил монотонно своё, адвокат своё; судья, читал бумаги торопливо без пауз, поднося листы близко к лицу, будто хотел его спрятать. Слова у него сливались в одно длинное серое предложение. Татарин с Сахалином сидели в зале в тёмных костюмах при галстуках. Лица их выражали скорбь и уважение к происходящему действию, от которого разило невыносимой фальшью и холодным равнодушием.

Дело было закрыто за недоказанностью вины. Татарин с Сахалином с видом респектабельных джентльменов, которые были вынуждены убивать своё время на не имеющие к ним отношения мероприятия пожали руку вертлявому, с бабьим лицом адвокату, и вышли из зала на набережную, где их в машине ждал Сохатый. Они не сразу пошли в машину, а подошли

к ограде Фонтанки, стали под фонарём и жадно закурили. Они, переговариваясь, курили и смотрели в замёрзшую реку.

Неожиданно Татарин, вздрогнув, обернулся. Рядом с ними, опираясь на палку, стояла бесшумно подошедшая к ним Прасковья Ивановна.

– Ты чё, бабуля, людей пугаешь? Чё те надо, старая? – спросил удивлённо Татарин.

Прасковья Ивановна ничего ему не ответила, лишь коснулась его руки, будто сказала: помолчи. Татарин от её прикосновения дёрнулся, будто его током «щипнуло».

Обернувшийся Сахалин рассмеялся и полез в карман за деньгами, подмигнув Татарину:

– Бабульке материальное положение подправить требуется, тёмный ты человек, Татарин.

– Эт, можно, – ответил Татарин. – Времена тяжёлые. Деньги всем нужны. Подкинь, Сахалин, бабульке из кассы взаимопомощи.

Прасковья Ивановна, глядя в смеющиеся глаза Сахалина, раздосадовано покачала головой.

– Думаешь, спасся? Как же ты раб Божий Александр жить-то с этим будешь?

– Ты о чём это бабка? Имя, откуда знаешь? – удивлённо произнёс Сахалин, доставая из кармана пачку денег, перетянутую резинкой, – на-ка, возьми, бабуля, пригодится. От сердца даю, бери, бери.

Он вытащил из пачки пару купюр, протянул Прасковье Ивановне.

Прасковья Ивановна отодвинула его руку.

– Не за деньгами я к тебе подошла.

– Так чё тебе надо? – удивился Сахалин.

– Хотела на тебя вблизи посмотреть, чем ты светишься. Да нету от тебя свету. Тьма одна от тебя идёт.

– Аккумулятор подсел. Сейчас подзарядимся и пойдём в клуб зажигать, – ухмыльнулся Сахалин. – Бери, бери деньги, старая, пока дают. Чего это ты пурги какой-то нагоняешь?

– А ты знаешь, что это за старуха, Сахалин? – сказал вдруг Татарин, нервно закуривая ещё одну сигарету.

– Ну? – Сахалин обернулся к нему.

– Это ж родственница ... погибшей. Она и на первое заседание суда приходила.

– А-а-а, – протянул Сахалин. – Так чего тебе надо, бабушка? Ты же была на суде. Слышала, что суд постановил. Не мы это были.

– Эх, парень, парень. Разве это суд? Смердит от такого суда, где волка овцой невинной представляют. Ты убил Ольгу и дитя её, света Божьего не увидавшего, ты убил, и тебе бы за это по-мужски ответить нужно было бы, покаяться, на колени перед родителями упасть.

Сахалин не дал ей договорить.

– Адвокатша нашлась! Да я это! Я! Не нарочно же?! Так вышло. Не увидел я её. Бывает такое. Каждый день такое случается, с каждым такое может случиться. Машина – не велосипед. И что? Мне в тюрьму садиться? Её не вернуть, а мне туберкулёз в тюрьме подцепить и сдохнуть? За одну смерть две смерти плата?

– Мертвец передо мною, мертвец, – сказала Прасковья Ивановна. – Говоришь, говоришь, а глаза мёртвые. Что ж ты так за жизнь свою жалкую цепляешься? Жизнь ли это так жить, как ты живёшь? Скольких ты людей, походя, между делом убил после Ольги, не считал? Ты же купил эту жалкую свободу, платил и судьям и другим людям, развращал деньгами ради своей жизни. Они, все, кому ты оплачивал труды их грязные, твоими поделельниками стали, понимаешь, убийцами Оленька? А свидетелей, честных людей запугал... представляешь, что они тебе теперь желают? Да, думаю, что и все, кто деньги твои чёрные взял неважно себя чувствуют, и любви к тебе особой не испытывают.

– Ну, хватит, – зло сказал Сахалин. – Всё сказала? Тогда вали. Пошли, Татарин.

– погоди, – голос Прасковьи Ивановны дрожал, она говорила совсем тихо.

– Ну, что ещё? – дёрнулся Сахалин.

– Я твоё завтра увидела...

– Это интересно, – Сахалин приостановился.

– Я сейчас дом твой новый вижу. Место пустынное, тихое, лучше места не найти для очищения души. Совсем скоро там будешь. Много времени отпустится тебе для сердечной работы. Не оставит тебя Господь без крова, воды и пищи. Там и пребудешь ты. Вижу камень хороший, на таких столпники великие молились, тебя на нём вижу, воду вижу бескрайнюю, а дальше туман... не вижу ничего. Не в моих силах видеть так далеко. Чёрный, ты чёрный, сажей злобной душа залеплена... не понимаешь, что день к вечеру хорош.

Она перекрестилась, и побрела осторожно по скользкому тротуару к автобусной остановке, где её ждал брат. Вдруг она остановилась, повернулась и повторила: «День к вечеру хорош».

– Чокнутая! – сказал Сахалин, провожая Прасковью Ивановну взглядом. – Пошли, Татарин. Надо обмыть дело. Ванга, блин. Типа ясновидящая. Во, блин, башню у людей поносило, насмотрелись телевизора!

Выкинув в канал сигарету, Татарин, оглядываясь, последовал за товарищем.

Остров

Камень был горячий и гладкий, сидеть на нём было приятно. Камнем он называл большой валун в форме высокой перевёрнутой ванны, отполированный ветрами и намертво вросший в песок. К нему «приросли» три камня служившие ему ступнями.

От камня до океана было шагов двести. Когда он впервые сел на этот камень, океан был от него шагов на двадцать дальше. Материальным свидетельством наступления океана на сушу, для человека, сидящего на камне, был безобразный огрызок скалы, поросший водорослями, в каких-то лишайчатых ржавых пятнах, выступающий из воды, словно гнилой зуб в беззубом рту.

Сколь долго он живёт на этом острове он уже не мог сказать, но хорошо помнил, что было время, когда эта уродливая скала с таким же наглым и независимым видом стояла на берегу и океан доставал до неё только во время приливов и штормов. Теперь её основание всегда было в воде.

Изо дня в день, из года в год и из века в век, воды океана накатывались на этот скалистый клочок суши, затерявшийся в его бескрайних просторах. Иногда океан с бешеным рёвом яростно обрушивался берег, но чаще лизал его своим солёным и шершавым языком, а его верный и буйный друг-хохотун ветер, посвистывая, помогал ему в этой вечной разрушительной работе.

Люди, приезжающие из года в год на одни и те же морские курорты, вряд ли замечают изменения, происходящие с морем. Они беззаботно купаются, отдыхают, загорают, веселятся и твёрдо уверены, что и на следующий год найдут море на том же месте. Но для Сахалина, сидящего сейчас на камне, незаметная и настырная борьба воды с сушей не могла остаться незамеченной, дни, которым он давно потерял счёт, дни, похожие один на другой, давно уже начинались с того, что он приходил к своему камню. Он сидел на нём неподвижно подолгу, с умиротворённым лицом, всматриваясь в бескрайнюю живую даль океана, иногда закрывал глаза и дремал, а уходил только тогда, когда подступала нестерпимая жажда.

Как-то он вспомнил, как однажды был в храме с Сохатым, где увидел икону с Серафимом Саровским молящегося на камне. Подкованный в религиозных вопросах Сохатый рассказал ему о том, что этот монах тысячу дней и ночей молился на камне. Силу своего камня и Сахалин чувствовал. Он молиться на камне, молился о своём освобождении с проклятого острова. Молитв он не знал, поэтому просил у Бога спасения и помощи, под спасением он

понимал возвращение в мир людей. Молитвы он совмещал с проклятиями в адрес ненавистной старухи-ведьмы, по колдовскому навету которой он оказался на этом каменистом острове. Но в этом он уверился не сразу, «прозрение» пришло чуть позже.

До камня всё было по-другому. После того, как океан выплюнул его на берег рядом с этим камнем, он долго не мог осознать явь это или сон. Он не верил своим ощущениям, бегал по берегу, отскакивал в испуге от ползающих змей, кричал что-то, потрясая кулаками, рыдал. Были долгие дни безумия, метаний, ярости, отчаяния, запредельной тоски, невыносимого страдания и жесточайшей апатии.

Несколько первых ночей он не спал, ходил по берегу, удивлённо вглядываясь в низкое, усыпанное яркими звёздами небо, в океан и мозг его отказывался принять очевидное и ужас случившегося.

Впрочем, его тут же посетила незримая госпожа Надежда, лёгкая в своих проникновениях в сердца людей. Она подкинула ему порывы естественного энтузиазма, веру, что всё это ненадолго, что его вот-вот найдут. Но время шло и ничего не менялось: спасатели не появлялись, дни были похожи один на другой с чередующимися приступами злобы и апатии, ночи были бессонны и тревожны.

И однажды, когда он стоял, вглядываясь в водную пустыню, накопившиеся состояние отчаяния выстрелило. Издав отчаянный вопль, он бросился в воду, потеряв контроль, забыв об акулах, подплывающих близко к берегу. Он остервенело плыл к горизонту, где должна была быть, – он так думал, – заветная земля людей. Быстро потерял силы, перестал противиться объёмам океана, готового забрать его в свои тёмные глубины, и даже обрадовался тому, что страданиям, наконец, наступит конец.

Но он не утонул, и его не съели акулы. Очнулся на берегу, на том самом месте, с которого бросился в океан, у камня. Как это произошло он понять не мог, но позже стал думать, что возможно он и не прыгал в океан вовсе, что это было галлюцинацией. Именно тогда он в первый раз взобрался на этот прогреваемый солнцем камень и сразу же почувствовал нечто необычное: возникло тёплое ощущение расслабленности, успокоения. Придя к камню в следующий раз, он почувствовал то же самое.

Сидение на камне странным образом мобилизовало его внутренние ресурсы, он это не сразу понял, но внутренне почувствовал его скрытую силу. Со временем сидение на нём стало обязательным действием, каким-то необходимым спасительным ритуалом.

Сидя на камне, он забывал о еде, воде, своей горькой участи, мысли текли ровно, взгляд, устремлённый в океан, будто проникал в далёкие места населённые людьми, он вспоминал, мечтал, грезил, а иногда просто отключался, и тогда взгляд его становился пустым и мёртвым. В такие моменты он надолго замирал, превращаясь в изваяние, сливаясь в единое целое с камнем, который становился постаментом этому живому изваянию. Со временем он стал думать, что не он выбрал этот камень, а этот одинокий камень-друг, стоящий здесь много веков пожалел и выбрал его, призывая приходить и делить с ним горькое одиночество и подпитывать своей силой.

Ему захотелось пить. Он спустился на песок, и, прихрамывая, пошёл прочь от океана по остывающему песку. Пройдя несколько шагов, остановился, и некоторое время пристально вглядывался в необъятную, мерно дышащую зеленоватую бесконечность, словно надеясь увидеть там, что-то очень важное. Рядом с его ногами, сдвигая песок, и, оставляя след, прощуршала крупная змея, он проводил гада равнодушным взглядом.

Он шёл вглубь острова на запад. Солнце, красно-оранжевое, как огромный апельсин, уже прошло почти весь свой дневной путь и устало повисло у горизонта над океаном на другой стороне острова. Скоро оно должно было медленно опуститься в океан, передав своей вечной сменщице луне небесную вотчину.

Сахалин шёл, не глядя под ноги, губы его шевелились. «Когда-нибудь проклятая вода доберётся и до моего камня и сожрёт его, тогда, наверное, исчезну и я. Мои кости будут валяться на этом песке, а в черепа будут откладывать яйца проклятые змеи... это последний мой остров, последний. Проклятая старуха! Ведьма! Заслала меня на погибель, проклятая, проклятая, проклятая», – беззвучно шептали его губы.

Он остановился и опять обернулся к океану. Вздохнув, повторил громко: «Проклятая! Не сдохла ещё, наверное, проклятая. Зачем я сел в тот самолёт? Проклятая, проклятая, проклятая ведьма! Всё она, всё она!»

Его сейчас не признали бы ни друзья, ни даже родная мать. Он был наг, худ и чёрен. Кожа была прокалена солнцем и выдублена ветрами, волосы свисали грязноватой серой спутавшейся массой до пояса. Борода неопределённого цвета длинной растрёпанной мочалкой лежала на его впалой груди. Лицо до самых глаз, тёмных, с запавшими глазницами, заросло седыми с прочерную волосами. Между ног с ороговевшими ногтями скукожился сморщенный срам, и болталась такая же чёрная, как и сам он, мошонка.

Тропка полого шла вверх между отшлифованными солёными ветрами валунами. Он часто останавливался передохнуть и присаживался на камни. Дышал тяжело, набирал воздух в грудь со свистом, широко открывая рот, в котором виднелись пеньки полусгнивших зубов. Передохнув, вставал и брёл с отрешённым видом дальше, а губы всё время, что-то шептали.

Через какое-то время жизни на острове, он почувствовал, что ему стало трудно говорить. Слова словно залипали в гортани и не хотели выходить. Он сообразил, что теряет способность говорить, и тогда начал говорить с собой. Это стало стойкой привычкой.

Чтобы утолить жажду каждый раз приходилось проделывать нелёгкий путь. У него не было никакой посуды, чтобы запастись водой, и в дни, когда особенно сильно мучила жажда, приходилось ходить к воде иногда ни один раз в день. Вода была в неглубокой сырой пещере, по расселинам которой стекали хиленькие струйки воды, наполняя выемки в камнях лужицами. Вода отдавала сероводородом и была чуть солоноватой. После дождей, которые здесь были частыми, в ямках и полостях скал у берега скапливалась дождевая вода, и тогда Сахалину не нужно было ходить к пещере.

У воды было особенно много змей и ящериц и грызунов, но он давно не обращал на них никакого внимания. Это выглядело странно, но и ползающая живность этого острова, по всему, была равнодушна к нему и не проявляла к чужаку никакой агрессии, будто он был частью фауны острова.

Большую часть времени ему приходилось проводить у кормильца-океана: там у него был камень-спаситель и логово – грот, расположенный входом на запад, ветер в него не задувал. Во время штормов океан выбрасывал на берег водоросли, подсохнув, они становились ему постелью. Он постоянно натаскивал охапки водорослей в свой грот, утепляя его дно. На острове ночи не всегда были тёплыми, да и дожди здесь были частыми гостями.

Кормился он мидиями, гроздьями, облепившими скалы; крабами, иногда черепашьями яйцами, а во время отлива удавалось поживиться и кое-какой рыбой. Ел он это всё в сыром виде, «кухонными орудиями» были камни, среди которых был один острый, формой похожий на тесак.

Единственным съедобным растительным продуктом, который он саркастически называл десертом, был не то камыш, не то осока, росшая у источника. У растения был мясистый стебель, корень был с луковкой, сладковатой на вкус.

Жизнь на острове заставляла его беречь силы. Он приучал себя к однообразной размеренной жизни, старался не делать никаких лишних движений, ел совсем мало и много спал.

Когда ночи становились холодными, зарывался в своём гроте в водоросли, которые пахли больницей. Зарываясь в них, он всегда вспоминал одно и то же, как мальчиком лежал в рай-

онной больнице, где ему удаляли гланды. Вспоминал мать, которая приносила ему в больницу, где-то добытые апельсины, и он, хотя ему ещё больно было глотать, съедал их, давясь и мучаясь.

Но самым жестоким наказанием для него стали полнолуния. За день-два до очередного полнолуния его начинали одолевать безотчётные страхи, одолевала бессонница, начинала душить злая, безысходная тоска. Когда луна набирала полную силу, он не мог оставаться в своём гроте, дрожа, бежал к камню искать у него защиты. Перевернутая сфера неба, усыпанная мириадами мерцающих звёзд, была совсем низко. Ему казалось, что он остался один во всей вселенной, сидит в её центре, и купол неба медленно опускается, сжимается, давит, надвигается на него, а ртутный свет луны, очерчивает эллипс вокруг камня, как прожектор, освещающий одинокого артиста на цирковой арене. В такие ночи ему было совсем худо. Камень не справлялся с его муками. Раскачиваясь на камне, он плакал, плач переходил в конвульсивные рыдания, а после и в страшный и скорбный вой. И только, когда из океана медленно выползал диск солнца, выбрасывая яркую дорожку к берегу, он обессиленный и опустошённый возвращался в грот, закапывался в водоросли, но ещё долго не мог заснуть. Воспоминания из жизни среди людей, обрушивались на него беспощадной лавиной, и он не мог заснуть. Ворочался, стонал в полудрёме, вскакивал, садился, вытаращив глаза, и ему казалось, что в гроте кто-то тихо сопит, наблюдает за ним, а за его спиной невидимый человек передвигается, повторяя его движения так, чтобы он его не увидел.

В какой-то момент его жизни на острове, когда он уже потерял счёт прожитым здесь дням, лёжа в гроте, он вспомнил один эпизод из своей прежней жизни. Воспоминание было о дне, когда он с Татаринцом стоял на набережной Фонтанки после окончания судебного процесса, и к ним подошла старуха, которую он принял за побирушку. Это была родственница погибшей под колёсами его автомобиля женщины, она стала его «воспитывать» и стыдить, – он ей нагрубил. Уходя, она сказала фразу, чудовищный смысл которой он тогда не осознал, а словам старухи не придавал значения, посчитав её выжившей из ума. И только теперь, вспомнив эти слова, он содрогнулся: старуха говорила о его будущем заточение на острове! Она говорила, что видит его новый дом в пустынном тихом и безлюдном месте, что лучше этого места для очищения погибающей души не найти, что видит его на камне, на котором хорошо просить о прощении грехов. И ещё она сказала, что не может знать, сколь долго он пробудет в этом месте. Тогда ему было смешно, он отмахнулся от старухи. Уходя, она проговорила странную фразу: «День к вечеру хорош», которую он уже слышал от «верующего» поделщика Сохатого. Вспомнил он ярко и ясно сбитую им, лежащую на мёрзлом асфальте беременную женщину с задранной на живот юбкой, из-под которой были видны чёрные трусы.

«Так вот, почему я здесь! – озарило его. – Проклятая ведьма отомстила мне за родственницу. Там на Фонтанке, глядя мне в глаза, она прокляла меня и отправила сюда!»

Он потерял жалкие остатки покоя, слал старухе страшные проклятья, слал их и своим бывшим поделщикам. Долгими бессонными ночами, лёжа в своём гроте, как книгу теперь перелистывал всю свою жизнь. Перелистывал многократно, и всякий раз, когда в своих воспоминаниях доходил до того момента, где он садится в тот злосчастный самолёт, из-за которого он оказался на этом затерянном в океане острове, его охватывала неудержимая злоба. Особенно люто он ненавидел в такие моменты бывших своих товарищей Татарина и Сохатого, и, конечно же, ведьму-старуху. Он крыл их всех страшными словами, проклинал мир людей, в котором жили они. И совсем ему становилось плохо, когда он думал, что там, – в том мире, – Татарин с Сохатым поднимают стаканы за упокой его души. Правда, всегда после этих мыслей приходила более правдоподобная, реалистичная, хотя и страшная мысль о том, что, скорей всего, его кореша, и думать о нём давно перестали, нашли себе нового поделщика, трясут по-прежнему лохов толстосумов, жрут и пьют в кабаках, развлекаются со шлюхами. Может быть, открыли своё дело, как об этом много раз заговаривал Сохатый, Татарин достроил свой дом в Васкелово, квартиру его и машину продали, или подгребли под себя.

Когда он об этом думал, ярость выплёскивалась из несчастного голого тела. Он начинал бегать, нелепо размахивая руками, и посылать всевозможные страшные кары на головы Татарина и Сохатого. Буйство это кончалось падением на землю и конвульсиями. Затихнув, он долго не вставал с того места, где недавно бился в конвульсиях. Лежал с остановившимся взглядом, неподвижно, похожий в такие моменты на покойника. После этих вспышек он несколько дней мог не произнести ни слова, почти ничего не ел, и сиднем сидел на своём камне у океана, покидая его лишь для того, что бы сходить к воде.

СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД.

У него была ещё неделя до отлёта в Россию, когда ему неожиданно позвонил Татарин и приказным тоном потребовал, чтобы он срочно возвращался, мол, Светка риэлтерша нашла жирного лоха и дело можно сделать сейчас по-быстрому, а деньги большие.

Звонок взбесил его. Он терпеть не мог, когда с ним говорили таким тоном, здесь ему нравилось, хотелось ещё понежиться под ярким солнцем и развлечься: был конец января и возвращаться в холодный мрачный Питер не хотелось.

Он психанул. Наорал на Татарина, популярно «объяснил» ему, что он не в Ленинградской области находится, а на другом конце света. Обозвав его козлом, послал его «куда положено» и выключил телефон. Но настырный Татарин, который никогда не обижался, не отвянулся. Он опять позвонил этой ночью и ласково принялся увещевать, намекая, что дельце настолько денежное, что если выгорит, то он сможет тогда отдыхать долго, сколько захочет. Ещё раз, обругав Татарина, Сахалин лёг спать, но заснуть уже не смог. Раздосадованный вышел прогуляться и спустился в уютный бар-подвальчик. Там была русская водка, и он основательно заправившись, поехал на такси в аэропорт, узнать расписание и наличие билетов. Был рейс на завтра, но на него билетов не было. Следующий рейс по расписанию должен был быть через пять дней. Это его неожиданно обрадовало: где-то в закоулках его сознания, не проявляясь остро, бродил невнятный, но требовательный посыл о том, что лететь сейчас не нужно.

Посыл был смешан с каким-то невнятным неосознанным беспокойством, но удостоверившись, что он сможет улететь домой только через пять дней, он успокоился, решив, что сейчас с чистой совестью вернётся в тот понравившийся ему уютный бар в подвале, а Татарина, если он опять позвонит, ещё раз пошлёт, сказав, что билетов нет.

План на ближайшее время был простой: сейчас он закажет билет, после до утра будет пить в баре, уйдёт в номер, «сняв» проститутку. Но недаром говорят, что если хочешь рассмешить Господа Бога – расскажи ему о своих планах.

Когда он, раздумывая, стоял у кассы, к стойке подошёл хмырь, одетый довольно странно для здешнего климата: в тёплом клетчатом пиджаке, чёрных суконных брюках, с грязноватым шёлковым платком на шее, и дранных кедах на ногах с болтающимися шнурками.

Хмырь был кругленький, маленького роста, хорошо поддатый, он всё время почёсывался и громко матерился по-русски. Подойдя к стойке, он приподнялся на цыпочках, говорил с девушкой за стойкой на ломаном английском; в речи толстячка несколько раз прозвучали слова Moscow и Russia. Через минуту Сахалин говорил с толстяком. «Клетчатый» сдавал свой билет на завтрашний рейс: у него был здесь какой-то бизнес и образовались заморочки.

Позже Сахалин никак не мог себе объяснить, что на него нашло тогда в аэропорту, почему наступило неожиданное помутнение рассудка, почему он выкупил тот злосчастный билет у хмыря, хотя твёрдо решил лететь домой следующим рейсом? Когда уже на острове, вспомнил разговор на набережной со старухой, то твёрдо уверовал, что это произошло именно из-за чар мстительной ведьмы, сделавшей заговор на его гибель.

Они быстро сговорились с толстяком, переоформили билет и отправились в бар, где набрались основательно. Через десять часов он сел в самолёт и тут же отрубился. Из 152 чело-

век, находящихся на борту этого самолёта, выжил он один. Большой «бум», унёсший жизни ста пятидесяти одного человека, сделал чернявый пассажир, сидевший в хвосте самолёта. Сделал с воодушевлением, горячо помолившись, твёрдо веря, что теперь он окажется в раю

Сахалин

Когда он прошёл половину пути и остановился в очередной раз передохнуть, ему показалось, что где-то далеко в небе появился и исчез какой-то звук. Это не был звук начинающейся грозы, хотя небо над океаном очень быстро затягивали облака и ветер поднимал волну. Он смотрел в небо над океаном, но ничего не увидел кроме хаотичного бега облаков. Но вскоре он опять услышал этот звук. Звук появлялся и исчезал, он был похож на звук периодически разрываемой сухой плотной бумаги. Он опять остановился и повернулся к океану, прислонившись спиной к тёплой скале.

«Глюк», – пробормотал он, но не сдвинулся с места. В голове включился поиск, мозг медленно, как старенький зависающий компьютер перебирал варианты. Он искал определение этому знакомому звуку, и неожиданно в голове замигало, сначала неуверенно, а потом так, что чуть сердце из груди не выскочило: «Кукурузник»!

Звук принятый им за наваждение, был из его далёкого островного детства. Сколько раз он мальцом задира голову в небо, в котором цокающе тархтели эти самолётики, и, приложив ладонь к глазам козырьком, провожал их взглядом!

У него ослабели ноги, болезненно застучало в висках. Самолёт? Галлюцинация? Ни разу здесь не пролетал моторный самолёт или вертолёт, и он сделал вывод, что остров находится далеко от большой земли. Реактивные самолёты летали. Очень высоко в небе он часто видел серебристые точки военных самолётов, оставляющих за собой белые шлейфы, напоминающие ему о том, что он не один в этом мире, что мир людей ещё существует.

Видел он самолёты и ночами, когда сидел на своём камне, страдая от бессонницы и тоски. Несколько раз видел корабли. Они обычно шли далеко от острова, всегда у самого горизонта. А один раз из-за западной части острова, выскочила быстроходная яхта, и, резво набрав скорость, унеслась на восток. Он не кричал, не махал руками – в это время он был у пещеры между скал и никто на яхте не мог его увидеть. И ещё однажды, совсем близко от его острова, прошли встречными курсами два огромных судна не то контейнеровозы, не то танкеры. Корабли «поздоровались» и разошлись.

Он напряжённо смотрел в небо и звук повторился, то усиливаясь, то угасая, а после из-за облаков вынырнул и сам самолёт. Зачаровано глядя в небо, он опустил на камень.

С самолётом происходило что-то неладное: он, то нырял вниз, то судорожно взмывал вверх. Ему негде было сесть. Остров весь представлял сплошной каменистый массив и напоминал огромную сковороду, наполненную песком, камнями и валунами разной величины.

Тем временем винт самолёта остановился. Самолёт падал, но не пикировал носом вниз, а всё ещё летел с выпущенным шасси, но уже было понятно, что чуда не произойдёт и он непременно упадёт. Он уже был так низко, что Сахалин смог прочитать на его фюзеляже слово Patterson, выведенное золотым витиеватым шрифтом.

Звук падения был оглушительным. Сахалин зажмурился. С содроганием он ждал взрыва, но его не произошло. Он открыл глаза, нервно рассмеялся и с необычайной прытью, лавируя между валунами, заспешил к месту падения самолёта.

Несколько раз он падал, больно ударяясь о камни, разбил в кровь колени, но, не останавливаясь, ни на миг, продолжал двигаться к цели. Ему казалось, что он двигается быстро, но на самом деле, уже прошло минут тридцать с того момента, как он начал свой бег к месту падения самолёта.

Когда он, наконец, увидел самолёт лежащий между валунами, силы его покинули. Он лёг спиной на плоский нагретый солнцем валун. Сердце выскакивало из груди, во рту пересохло, жадно, как рыба, выброшенная на сушу, он хватал ртом воздух. Лежал долго, до тех пор, пока не пришёл в себя. Когда встал, солнце уже наполовину погрузилось в океан, ветер усилился, океан волновался, погода на глазах менялась, небо затягивало облаками, которые наперегонки неслись на запад. Сахалину стало трудно дышать, болели ноги и всё тело.

Когда он доковылял к самолёту, его потрясывало от нервного возбуждения. Самолёт лежал на брюхе, рядом валялись колёса шасси. Хвостовая часть самолёта треснула, левое крыло срезало при ударе о скалы, тут же лежала часть винта, дверь и какой-то дымящийся агрегат. В кабине, уткнувшись в приборную доску светловолосой, выкрашенной в жёлтый цвет головой, сидел без движения мужчина. Одного взгляда хватило Сахалину, что бы понять, что мужчина мёртв: из загорелой шеи на рубашку натекла тёмная кровь; плоть на шее была разорвана – безобразно торчали шейные позвонки.

Он приподнял голову пилота за лоб и, придерживая её в таком положении, рассмотрел лицо покойника. Это был белый мужчина лет сорока, с небритым лицом, под нижней губой торчал клочок выкрашенных в жёлтый цвет волос, в ухе висела серёжка с прозрачным камнем, светлые глаза были неестественно вытаращены.

Сахалин выругался и отпустил голову, – она упала на грудь. Увидев на приборной доске наушники с микрофоном на тоненькой ножке, он стал крутить ручки различных приборов, но они не подавали признаков жизни. Телефон он нашёл в нагрудном кармане рубашки пилота. Таких телефонов он никогда не видел. Корпус телефона был из дерева с золотыми вставками. Он долго не мог сообразить, как его открыть, чтобы добраться до кнопок, когда, наконец, у него это получилось, принялся лихорадочно тыкать по кнопкам, но ничего не произошло – телефон молчал, дисплей не светился. В отчаянии он ударил кулаком по приборной доске. С неё отвалилась держащаяся на магните фотография в золочёной рамке, он поднял её.

На фото был запечатлён пилот самолёта и красивый длинноволосый парень. Оба были в шортах у пальмы на фоне моря и красивой яхты. Пилот, с нежностью глядя на парня, лицо которого было серьёзно, обнимал его за плечи. «Пидорюги, – просипел Сахалин с ненавистью, отшвыривая в сторону фотографию.

Он открыл какой-то ящик, принялся выкидывать на пол его содержимое. На пол упала упаковка презервативов, золотая зажигалка, и толстый блокнот в кожаной обложке, на которой тем же шрифтом, что и на фюзеляже самолёта, была вдавленная надпись золотом Patterson. Это был ежедневник. Сахалин его отшвырнул, но тут же жадно схватил и быстро открыл. Взгляд его замер на титульной странице. Оторвав взгляд от блокнота, он недоумённо прошептал: «Две тысячи пятый год? Этот жмурик прилетел сюда, что бы сообщить мне, что я здесь уже...

Губы зашевелились, он, что-то высчитывал, на лбу собрались морщины.

Сумрачный воздух быстро насыщался электричеством, становясь влажным – в небе зарождалась гроза. Лицо Сахалина искривилось, он дрожал, на глазах выступили слёзы. И неожиданно, воздев свои костлявые руки к небу, потрясая ими, он закричал:

– За что? Этого... этого быть не может... семь лет!? Проклятая старуха, проклятая! Подлая тварь, ты прислала мне этого жмурика, что бы сообщить, сколько я здесь кантуюсь?

Он поднял глаза к небу.

– Старик, ты там, на бесах, вконец сбрендил? Я семь лет на своём камне прошу спасти меня, а ты присылаешь сюда мертвяка? Великий и ужасный боженька, побазарь со мной, расскажи мне, за что ты так со мной? По-твоему я самый страшный человек на свете, что бы можно было так со мной поступить? Я, боженька, таких тварей в жизни своей видел, таких беспредельщиков, таких сучар, что я перед ними дитя невинное. Ты их тоже ведь видел? Ведь так? Люди говорят: Бог не Тимошка, он всё видит в окошко, почему же ты их не тронул, а меня закинул сюда. Зачем ты спас меня от смерти? Зачем ты угробил всех в том самолёте, а

меня закинул сюда? Это твоя справедливость? Да лучше бы ты меня убил вместе со всеми! Так жить, как я живу, лучше не жить – это хуже смерти. Убей меня прямо сейчас, убей, прошу тебя, жхни в меня молнией, забери на небо или отправь под землю. Уж лучше там перед кем-то отчитываться, терпеть ваши раскалённые сковородки, но с кем-то говорить, хоть с Сатаной, хоть с чертями, чем здесь с ума сходить. Семь лет! Я-то думал, что я года два здесь. Семь долбаных лет, как один день... это что ж... мне... тридцать девять лет? Меня там, у людей давно все забыли... похоронили. И мать моя умерла, наверное. За что ты, так со мной? Молчишь? За что? Нет, сил у меня больше жить... нет сил у меня. Я сам не могу себя убить... я хотел, но не смог... ненавижу... ненавижу... всех ненавижу, проклятая старуха, колдовка проклятая... это всё она... ты ей помог...

Он ещё что-то бессвязно кричал, грозил и грозил небу костлявыми руками, сжатыми в кулаки, а небо темнело и темнело, будто кто-то плавно прокручивал реостат, уменьшая напряжение. И вдруг, как огромную накрахмаленную пересохшую простыню разорвали в небе, небо треснуло, прошитое вспышкой первой молнии, похожей на вспыхнувшее разом засохшее дерево, выдернутое из земли вместе с корнями; по небесной выси прокатились, оглушительно сталкиваясь, небесные валуны, грянул гром; за первой молнией сверкнула ещё одна, ещё и ещё; стало совсем темно, разверзлись небеса – хлынул ливень.

А Сахалин всё стоял и тряс кулаками, глядя в небо, посылая проклятия небу, Богу, природе, старухе, всему миру. Ливень с ветром хлестал его тощее высохшее тело, а он, не замечая буйства природы, всё кричал и кричал.

Потом он хохотал. Он не мог остановиться, всё хохотал и хохотал, с лицом искажённым гримасой страдания. Хохот перешёл в рыдания. Он теперь не грозил небу, он рыдал, говорил сам с собой, говорил и страшно ругался. Когда упал на песок, уже не говорил, а шептал, запинаясь: «Семь долбаных лет... семь лет... я бы уже давно из тюрьмы вышел, если бы тогда не отмазался. Спокойно бы отсидел и по половине бы давно вышел. За что? За что это мне? Лучше бы я умер в том самолёте, лучше бы умер, лучше бы сдох... старуха... сдохнуть тебе, сдохнуть...».

Он бормотал тише и тише и, наконец, обессилев, замолчал. Лежал, распластавшись на песке, лицом к небу с открытыми глазами, а небо грохотало свою электрическую симфонию, озаряя остров и океан всполохами, поливая ливнем распластавшегося на земле человека.

Разбудило его солнце. Ничего вокруг не напоминало о вчерашнем неистовстве природы, было душно, песок, на котором он спал, уже прогрелся. Каждая клеточка его тщедушного тела болела, встать не было сил, он уговаривал себя сделать это, но не мог пошевелиться. Самолёт лежал в трёх шагах от него, похожий на изувеченную крупной картечью птицу. Он закрыл глаза, равнодушно думая о том, что, наверное, уже не сможет встать, что и нет смысла подниматься, и было бы хорошо вот так лежать, обессилить, заснуть и умереть во сне. Но через некоторое время ему захотелось пить, и ещё он вспомнил, что не успел обследовать весь самолёт – это мысль заставила его собраться, он встал.

На лицо пилота уже лепились мошки, они заползали в нос, уши, в открытый рот и глаза. Глаза Сахалина отметили то, на что он не обратил внимания вчера: на золотые часы на руке, на перстень с крупным камнем, на золотую изящную цепочку на шее пилота. В голове сложилось: «Богатый гусь». Он поднял брошенный им телефон. Стал его разглядывать, думая о том, что даже, если бы этот телефон и работал, он бы всё равно никуда не смог бы позвонить: он не помнил ни одного номера и понятия не имел, где он находится.

Но в ожившей голове неожиданно стали складываться мысли, от которых он приходил в трепет. Направление мыслей сумбурно шло в сторону рассуждений о том, что этот самолёт непременно станут искать.

Рассуждения были вполне здравыми, они будоражили его, самолёт, несомненно, дорогая штука и пилот, возможный владелец самолёта, по всему, совсем не бедняк. И кроме всего, думал он, раз он долетел сюда на моторном самолёте, значит, и большая земля где-то не так уж далеко! А значит... значит, по горячим следам должны начаться поиски «богатого гуся».

К его глазам вернулся блеск. Неожиданно он подумал о том, что самолёт состоит не только из кабины, что есть ещё и салон, в котором могли быть пассажиры. .

Искорёженная дверь валялась недалеко от самолёта. Он влез в деформированный дверной проём и присвистнул удивлённо: стены отсека были отделаны ценными породами дерева, пол устлан коврами, на полу валялся телевизор с большим экраном, каких он прежде никогда не видел и музыкальный центр. На иллюминаторах висели шёлковые занавески; одно из двух кожаных кресел было выворочено, пол был засыпан разбитыми бутылками, фужерами, глянцевыми журналами, какими-то обломками, двери вместительного бара лежали на полу. Ноздри Сахалина вздрогнули: в салоне пахло забытым запахом спиртного. Он нагнулся и вытащил из кучи стёкол целую бутылку виски, нашёл пластиковую бутылку с минералкой, из еды обнаружил пакетики с кешью и мюсли, арахисом и несколько плиток шоколада. Ещё он нашёл сигары, нож, маникюрный набор с пилочками и ножницами.

Свои находки он сложил в серебряное ведёрко для шампанского, выбрался из самолёта, сел на валун, выпил воды, пожевал мюсли. Еда ему не понравилась, он подумал, что рыба или мидии были бы, сейчас более к месту.

Мысли лихорадочно скакали, согревая растущей уверенностью, что самолёт непременно будут искать. Это придавало сил, но в то же время, он безотчётно волновался, подспудно понимая, что теперь вся его жизнь изменится, что она будет ежесекундно состоять из волнения, мучительного беспрестанного ожидания долгожданной встречи с людьми. Ожила обессиленная временем надежда.

Он доверял своим инстинктам и ощущениям. В его прежней жизни, где главным постулатом был постулат: не верь, его окружали люди, жившие по такому же принципу. Он не верил не своим подельникам, не женщинам, с которыми спал, (это в основном были доступные женщины), не властям, не людям вообще. Когда случалось, что его обманывали или «разводили», как было принято говорить в его среде, неверие только укреплялось, и такой опыт подвигал к большей изощённости и коварству в отношениях с людьми. Он всегда был готов к тому, что его обманут и сам готов был это делать ради своих целей, а цель была одна – «подняться», что означало обогатиться, добиться положения, успеха, причём любыми средствами. Мир вокруг был саванной с её жёсткими реалиями, скопищем людей, в котором все думают одинаково и никто в этом мире не откажется сорвать куш, если такая возможность представится. Просто не все на это решаются из-за трусости, но людишки, как шакальё, непременно накинутся всем скопом на упавшего, и разорвут ослабевшего на куски.

Его подельник Сохатый, несколько раз затаскивал его в храмы. Он не отказывался, но как-то после очередного посещения храма, скривившись, заявил товарищу, что это обычное «разводиловое» на бабки, и больше он сюда не ходок. Когда подельник ему возразил: мол, ты же видел, сколько там было людей, и все они были согласны на это, так сказать, «разводиловое». Не дураки же конченные они все, в конце концов? Сколько веков, мол, люди ходили и продолжают ходить в храмы молиться Богу, а по всему миру миллионы верующих, он ответил грубо: «Лохи ходят». А на возражение товарища о том, что и братва почти вся сейчас с крестами и в храмы ходит, он ответил: «Очко играет. На всякий случай ходят». Здесь его товарищ промолчал, потому что возразить на этот резонный выпад было нечем. Он хорошо знал, что так называемый «случай», очень хорошо виден на Южном кладбище Питера, да и не только на Южном.

Он вернулся к кабине пилота. Мошек стало больше, они лепились к его лицу. Холодный ужас неожиданно охватил его, страшная мысль заставила похолодеть, закружилась голова, и,

чтобы не упасть, он схватился за голую раму лобового стекла, сильно порезал руки, но боли не почувствовал.

«Здесь негде сесть самолёту, это будет вертолёт, – думал он, – они про меня не знают, прилетят за пилотом. Им не к чему обследовать остров, заберут тело и улетят. Сесть им придётся в западной песчаной части острова, а моя берлога на восточной стороне и я могу проворонить их прилёт, буду спать в своём гроте. Но и здесь я находиться не могу, труп уже сильно воняет, мошки заедят, ночи здесь холодные, мне нужен камень – мне плохо.

Труп был влажным и тяжёлым. Он бесцеремонно наклонил одеревеневшее тело пилота набок, ругаясь, потянул за руки и, когда тело с тупым звуком упало на камни, в несколько приёмов, с передышками, оттащил его за ноги от самолёта. Рой мошек, последняя свита мертвеца, вылетел из самолёта и мгновенно оккупировал его лицо. «Я должен перетащить его к гроту. Когда за ним прилетят, то станут его искать по всему острову. Тогда найдут и меня. Они прилетят обязательно», – бормотал он, берясь за ноги пилота. Он потащил тело меж валунов, подолгу отдыхая, через каждые два-три метра пути. Но далеко не смог перетащить тело – силы покинули его. Нужно было подкрепиться и, прихватив ведёрко с трофеями, он пошёл к кормильцу-океану, а после свалился на водоросли своего логова и заснул.

Проснулся он затемно. На перенос тела к океану, где его можно было закопать в песке, ушло полдня. Он снял с шеи пилота золотую цепочку и надел её на себя. Снял и часы, застегнул их на руке, полюбовался ими, перстень ему снять не удалось. Закопал он пилота недалеко от своего грота. В холм воткнул часть винта, которым выкапывал яму. Пообедав мидиями, успокоенный сел на свой камень.

И странное дело: камень ничего ему не отдавал! Он сидел на нём до заката и не ощутил впервые состояние покоя, которое всегда прежде получал от камня. Он не понимал, что происходит, занервничал. Когда на небе появилась луна, он испугался: она была полной! В предчувствии тяжёлой ночи, его охватила паника. Он думал о том, что эта ночь может его доконать, что он не выдержит такого испытания, умрёт, и все его потуги к своему спасению окажутся напрасными. Тревога росла лавиной.

Мысль о виски показалась ему спасительной. Он принёс к камню ведёрко с виски, минералкой и шоколадом. Сев на песок, прислонившись к тёплому камню спиной, дрожащей рукой свинтил крышку бутылки и поднёс её ко рту. На мгновение замер, потом решительно сделал глоток. Ему показалось, что в голове, что-то взорвалось. Но уже через мгновение ему стало жарко, по всему телу разливалась приятное тепло и истома. Он сделал ещё глоток и ещё, опьянел и впал в дрему. Иногда он открывал глаза, поднимал бутылку и делал очередной глоток.

Луна ярилась на безоблачном небе, она была прямо над его головой, и казалось, что всю мощь своего серебристого света направляла на него, океан сонно шелестел рядом. Встать у него сил не было, но он и не хотел вставать: ему было хорошо и не было не беспокойства, ни тоски, ни страха. Вскоре он свалился на бок и заснул. Ему снился сон, который он никогда прежде не видел: улицу своего посёлка, по которой медленно шли люди из его детства – дети, соседи, учителя, рыбаки, военные, мать, отец, бабушка с дедушкой, сестра с братом.

Очнулся он от голоса старухи. Она будила его, повторяя: «Вставай, Александр, открой глаза». Он отмахивался, несколько раз сонно проговорив: «Пошла вон, не доставай». Но голос требовал и требовал, что бы он открыл глаза.

Он с трудом разлепил слипшиеся глаза, приподнявшись, выпрямился, прислонился к камню, пошарил рукой по песку, нашёл бутылку и сделал глоток. Он вздрогнул, потому что голос отчётливо произнёс: «Я здесь».

В метре от него стояла старуха и не одна. Рядом с ней, держась за большой живот, стояла та женщина, которую он сбил машиной много лет назад.

Он вжался спиной в камень. Замахал перед собой руками: «Пошли вон. Убирайтесь. Я не сдох, видишь? И не сдохну, проклятая. Тебя нет, нет тебя! Ты там... И её нет – она умерла. Убирайтесь!»

– Столько времени у тебя было, Александр, чтобы ты отошёл от злобы! Но не пришло к тебе раскаяние, тысячи оправданий ты находил для себя, ни шаг, не приблизившись к осознанию своей ничтожности, своего мерзкого своеволия. Виноватыми стали все и даже эта несчастная женщина с не рождённым ребёнком, убитая тобой. Ты и здесь нашёл себе отговорку, говоря себе: «Могла бы быть повнимательней, нечего было лезть под колёса». У тебя был этот камень, ты ведь чувствовал его благодать? Он притягивал, он облегчал твои страдания, вводил тебя в прекрасной тишине этого чистого мира в мир дум, среди которых непременно должны были появиться мысли о покаянии...

– Нужно на переходах быть осмотрительней... убирайся. Старая дрянь, не мучь меня, сгинь! Это всё ты. Ты меня забросила сюда, ведьма, но ты просчиталась. Я жив и меня вот-вот спасут. Сюда прилетят люди. Убирайся!

Он поднял бутылку и швырнул в старуху.

– Не будет тебе никогда покоя, Никогда не обретёшь ты его, глупец. Ты выбрал смерть, она совсем рядом, но и она не даст тебе покоя, – сказала старуха.

Она повернулась к женщине: «Пойдём, моя хорошая».

Взявшись за руки, женщины пошли к океану. Беременная женщина с печальным ликом оглядывалась.

– Постой, старая, Что означает твоё: день к вечеру хорош? – крикнул он.

Старуха остановилась и повернулась к нему:

– У тебя было достаточно времени, времени, чтобы разобраться с этим.

На горизонте появился краешек солнца, старуха и женщина шли к океану, Сахалин, провожал их взглядом Они, держась за руки, вошли в океан и исчезли в нём.

Он встал, поднял бутылку с песка, допил остатки. Качаясь, дошёл до своего грота и свалился на подстилку из водорослей.

Вертолёт завис над лежащим между валунами самолётом. Погода портилась на глазах, ветер налетал наскоками, небо затягивало тучами.

– Сэр, нам здесь не сесть, – закричал губастый чёрный сержант, мужчине в костюме. Можно спуститься по лестнице, но ветер, чёрт бы его побрал, сильный. Как вы? Есть желание заняться экстримом?

– Найдите другое место для посадки, сержант Армстронг. Какая проблема?

Ни один мускул не дрогнул в непроницаемом, будто из чёрной резины лице сержанта.

– Майкл найди место для посадки, – крикнул он пилоту.

Вертолёт немного покружил, выбирая место для посадки, и через пару минут приземлился на небольшом песчаном пятчке у океана в западной части острова. Под окрики сержанта, первым выпрыгнувшим из вертолёта, из него посыпались морпехи в полной боевой выкладке. После них из вертолёта вылезли с угрюмыми лицами двое немолодых мужчин в оранжевых комбинезонах, достав сигареты, они закурили. Последним спустился на землю мужчина в костюме.

Сержант ткнул кулаком в бок замешкавшегося конопатого парня и выругался.

– Шевелитесь, шевелитесь! Что вы, как мухи в дерьме копошитесь? Рыжий, к мамочке под юбку потянуло? Шнурки нужно было раньше завязывать.

Морпехи загоготали.

– Заткнулись! – гаркнул сержант. – Нам уже не придётся искать этого... как его... мистера Паттерсона. Это последний остров. С вертолёта вы все хорошо видели, этот грёбанный самолёт, за который было заплачено чуть ли не три миллиона баксов. Нам там не сесть. Отсюда

чуть меньше мили до него. Джексон, Брэдли и Савитцки идут за мистером Паттерсоном или за дерьмом, которое от него осталось. Что за фамилия у тебя дурацкая такая – Савитцки? Нет, Савитцки, пожалуй, остаётся. С вами пойдёт представитель ФБР и вот эти двое джентльменов-технарей, им придётся некоторое время поковыряться в самолёте и найти чёрный ящик. Эфир не засорять. Ну, пошли, пошли, губошлёпы!

Морпехи неохотно двинулись по валунам вглубь острова, двое технарей и ФБРэшник поплелись за ними.

– Беложопые вашингтонские свиньи. Крюкотворцы долбанные, срань кабинетная! Привыкли каштаны из огня таскать, ублюдки, вместе с гребанными банкирами. Из-за одного разбившегося белого педика пришлось гнать моих салаг ботинки стёсывать, – пробормотал сержант, провожая взглядом уходящую группу.

Через некоторое время у сержанта пискнула рация. Он выслушал сообщение с озабоченным видом. Выругавшись, он крикнул зычно:

– Поднимайте свои задницы. У нас есть работа.

Солдаты неохотно построились. Их было сейчас шестеро. Сержанта распирало от злости, он опять ткнул рыжего в плечо;

– Губошлёп, у тебя опять шнурки развязались. Слушай сюда, салаги. Самолёт есть – пилота гребанного в нём почему-то нет.

Морпехи удивлённо загудели.

– Тихо! Я сказал! – рявкнул сержант. – Этот псих, мог и из самолёта выпрыгнуть. Обдалбался коксом и решил, наверное, поискать какой-нибудь ночной клуб на этом острове. Хотя, я, почему то думаю, что он уже там (сержант поднял глаза к небу), и ему, чёрт побери, будет, что рассказать Святому Петру. Макдональдсов здесь, как видите, нет, воды много, но она, как понимаете, эксклюзивная... природная (сержант иногда любил поговорить «красиво»), а поскольку мистер Паттерсон числится пропавшим уже почти две недели, то шансов выжить у него, думаю было очень мало. Ребята сейчас ищут его там, в центре острова, мы разделимся на две группы и поищем его у океана. Вы трое и я с вами пройдемся по береговой линии в западном направлении. Мигель Орландо, Савитцки – что за фамилия дурацкая! и Маккензи – он будет старшим, огибают грёбанный остров с другой стороны. Задача: ищем живого или мёртвого гражданина США Паттерсона. Давай, давай, двигайтесь, губошлёпы.

Группа Маккензи вначале шла быстро, но когда завернула за скалы, где их уже не мог видеть всё замечающий глаз сержанта, троица сбавила темп. Морпехи пошли вразвалочку, без интереса разглядывая однообразный пейзаж.

Орландо споткнувшись о камень, и, чуть не наступив на змею, вскрикнул:

– Матерь Божья! Не хотел бы я здесь оказаться. Святые Угодники, помилуйте нас от таких путешествий.

Маккензи, оглядываясь на уползающую змею, сказал:

– Здоровая тварь. Жаль, что стрелять нельзя. Смотрели фильм с Томом Хенксом? Ну, где он на почтовом самолёте разбился и оказался на необитаемом острове?

Савитцки кивнул головой. Орландо ничего не сказал. А Маккензи продолжил:

– Так там он попал на нормальный остров. Там кокосы росли, деревья всякие. Тут бы он точно не выжил. Нет, здесь бы никто не выжил. И чего этого придурка Паттерсона сюда понесло?

Савитцки, смотря внимательно под ноги, ответил:

– Ты, что телевизор не смотришь? Паттерсон – крупная шишка. У него была семейная фирма по продаже удобрений для садовых и комнатных растений, аксессуаров, орудий всяких для садоводства. Он разорился в прах. Ну, и решил, говорят, вот таким оригинальным способом, свести счёты с жизнью.

– Да смотрел я, смотрел. Трубили об этом по всем каналам, – проговорил, Маккензи. – Национальный герой Америки. Наш авианосец подключили к поискам, надо же! Небось, если бы какойнибудь фермер пропал или водитель фуры, через неделю перестали бы искать. Тоже мне знаменитость! Кое-что и другое о нём, между прочим. О том, что его очередной милый дружок бросил, и он сильно расстроился, сел в самолёт, нюхнул чистейшего кокаинчика, заправил баки под завязку и полетел, куда глаза глядят. Одним педрилой стало меньше, короче.

– Матерь Божья! – воскликнул Орlando. – Мир катиться в пропасть! Люди совсем обезумели. В Библии сказано, что мир погибнет от разврата. Вот нам и кризис послан небом, что бы люди одумались.

– Ты я гляжу, верующий, деревня. Всё святых поминаешь. Кто одумается? Тебе-то чего одумываться? Ты не банкир, людей не грабишь, на улицу их вместе с детьми не выселяешь за просрочку долгов. От жирной жизни, что ли сбежал в армию? Ты я слышал уже женат, а вместо того, чтобы жену ублажать в постели, приказы козлов всяких выполняешь, а они тебя завтра пошлют туда, где им нужно свои грязные делишки обтяпывать. А оттуда, амиго, и в цинковом гробе можно к жене и мамочке вернуться. А таким, как Паттерсон этот, на нас всех начхать. У них свой кайф в жизни. Они считают, что они крутые и самые правильные, а мы лохи.

Орlando не поддержал это направление разговора, он, грустно улыбнулся.

– У нас принято иметь много детей. У меня три брата и две сестры. А ещё в Мексике полно родственников племянников, двоюродных братьев и сестёр. Они там очень бедно живут, но как-то выживают и продолжают детей заводить. А я со своей женой не решился пока детей завести. Страшно их заводить, не зная, что завтра станет. А бабушка моя всегда говорила, сколько Бог пошлёт столько, и вырастишь – где одна миска похлёбки там и вторая найдётся.

– Гляди, презерватив порвётся, будут у твоих родственников новые племянники и сёстры с братьями. Ты ж, наверное, амиго, каждый день на жену взбираешься? – хохотнул Маккензи, и, повернулся к Савитцки.

– А ты, правда, русский? Сержант к тебе из-за этого придирается? Похоже, он русских ненавидит.

Савитцки поднял с песка большую раковину, рассматривая её, ответил:

– Сержант думает, что в России живут люди в шубах, а по улицам ходят медведи. А там много наций, больше, чем в Америке, а медведи живут в лесах.

– Эй, Маккензи, гляди, бутылка! Кто-то пил дорогое виски, – закричал Орlando, наклоняясь, и поднимая с песка бутылку.

Маккензи, почесав, в затылке сказал:

– Chivas Regal Royal Salute. Не хило! Никак с неба упала.

– Э, нет, – проговорил Савитцки, – с неба она не могла сюда попасть. Господь Бог спиртным не торгует. Парни, нам нужно осмотреть гроты.

Они стали осматривать гроты, которых здесь было множество, и через несколько минут Мигель Орlando закричал:

– Ребята, он здесь!

Савитцки с Маккензи бегом подбежали к Орlando и остановились у входа в грот. Они уставились на лежащего, на куче водорослей Сахалина.

Маккензи негромко сказал:

– Эй, мистер, просыпайтесь.

Что-то пробормотав, Сахалин повернулся на бок.

Орlando, прошептав радостно: «Живой», – сообщил сержанту по рации, что они нашли человека. Сержант приказал ждать его.

Маккензи наклонился к Сахалину и потряс его за плечо.

– Просыпайтесь, мистер.

Сахалин недовольно заворчал, но после того, как Маккензи потряс его ещё раз, открыл глаза, уставился на солдат и хрипло выкрикнул:

– Убирайтесь! Пошли вон. Я не умер. Убирайтесь!

Орlando повернулся к товарищам.

– Он не по английски говорит.

Заворожено глядя на Сахалина, Савитцки сказал:

– Это не Патерссон, это кто-то другой. Он по русски говорит.

– Парни, он, кажется, не видит нас. Он слепой. Ну, чёрт, и воняет же от этого Робинзона, – проворчал Маккензи, с интересом разглядывая Сахалина, – похож на бомжа с Ямайки. Блин, у него часы Patek Philippe!

Лицо Сахалина неожиданно приняло осмысленное и испуганное выражение. Он быстро отполз к стене грота, и замахал руками.

– Уходите, убирайтесь! Я не умер. Убирайтесь!

– Что он говорит? – удивлено спросил Мигель Орlando.

– Думает, что он умер, и за ним пришли ангелы.

– Матерь Божья, – перекрестился Орlando. – Вот ведь настрадался человек.

– Так он русский? Чёрт, как он сюда попал? – раздражённо сказал Маккензи. – Скажи ему, что мы не ангелы небесные, а солдаты армии Соединённых Штатов.

– Друг, не волнуйтесь, пожалуйста. Мы не сделаем вам ничего плохого. Мы прилетели сюда за пропавшим человеком мистером Паттерсоном. А наткнулись на вас, – сказал Савитцки по-русски.

Сахалин смотрел на него взглядом безумца, дрожа и вжимаясь в стену грота.

– Мы на вертолёте прилетели и заберём вас, – продолжил Савитцки.

Сахалин заплакал.

– Прилетели! Я же знал, что вы прилетите за ним. Вы не могли не прилететь за этим богатеньким Буратино. Прилетели за ним, а нашли меня. Я не дурак, я это знал.

Он быстро подполз к Савитцки, обнял его за ноги, повторяя: «Прилетели, прилетели, прилетели».

Орlando с Маккензи подняли его на ноги, и, поддерживая, вывели из грота. Он обнимал то Орlando, то Маккензи и всё время плакал. Савитцки напоил его водой из фляжки.

– Спроси у него про педика, – сказал Маккензи Савитски.

– Скажите, а где пилот с разбившегося самолёта? – спросил у Сахалина Савитцки.

Сахалин будто не слышал вопроса, он любовно разглядывал солдат, бормоча:

– Прилетели. А старая, сука, подохла, наверное. Каркала, что это мой последний остров. Не последний он, не последний. Понимаете? Не вышло по ней. Я не издох, не издох я! Прилетели америкосы. Прилетели спасители. Уже вечерееет, а день и вправду к вечеру хорош.

– И всё-таки, где же пилот с разбившегося самолёта? – переспросил Савитцки.

Сахалин рассмеялся. Он поманил солдат рукой, приглашая следовать за ним. За гротом он остановился. Солдаты всё поняли: над небольшим песчаным холмиком торчал кусок винта самолёта.

Опять заплакав, Сахалин обхватил голову руками, говоря:

– Я здесь уже семь лет! Семь лет понимаете? Семь, семь, семь, вы это понимаете, америкосы?

– Что он бормочет? – спросил у Савитцки Маккензи.

– Говорит, что он здесь прожил семь лет.

– Матерь Божья! Небесная Заступница! – вскричал Орlando. – То-то он и на человека не похож. Велика воля Господня: не дал человеку умереть. Велики двои деяния, Господи.

– Кадр из фильма ужасов, – хмыкнул Маккензи.

Солдаты повернулись на стрёкот вертолёт. Вертолёт сел на свободное место и из него выпрыгнул сержант Армстронг.

– Это Паттерсон? По моему он больше похож на обдолбленного бродягу певца регги с Ямайки, – сказал сержант, разглядывая Сахалина.

– Паттерсон умер, сэр. А это местный Робинзон. Говорит, что прожил здесь семь лет, – ответил Маккензи. – Он русский.

– Русский? Эти русские расползаются по всему миру. Откуда он мог здесь взяться? Здесь невозможно выжить, – недоумённо произнёс сержант. – А где же наш Паттерсон?

Орlando показал рукой на холмик.

Сержант нажал кнопку вызова рации.

– Сэр, мы его нашли. Он мёртв. Но есть и живой. Робинзон какой-то. Русский. Слушаюсь. Как закончим, сразу вылетаем за вами.

– Пакуйте покойника, – бросил сержант солдатам.

Неожиданно Сахалин подошёл к отпрянувшему от него сержанту и заговорил с ним, тронув его за плечо:

– Слышишь, чёрный, я здесь знаешь, сколько лет кантовался? Понимаешь? Не, ты этого не можешь понять, никто не сможет... мужики, дайте чего-нибудь поесть человеческого.

– Что он говорит, Савитцки? – спросил сержант.

– Есть хочет, сэр.

– Дайте ему немного галет. Ему сейчас много есть нельзя.

Савитцки достал из кармана пачку галет. Сахалин схватил галеты с жадностью, стал записывать их в рот; крошки высыпались у него изо рта.

– Хлеб! Это хлеб! – говорил он, улыбаясь.

Двое солдат в респираторах и в перчатках упаковали тело Паттерсона в полиэтиленовый мешок, застегнули молнию, и отошли в сторону, ожидая распоряжений сержанта.

– Тащите его в вертолёт. Чёрт, придётся дышать этим дохляком, да и этот Робинзон воняет, будто всю жизнь прожил в свинарнике, благо до авианосца недолго лететь. Помогите ему дойти до вертолёт.

Орlando с Савитцки хотели взять Сахалина под руки, но он отвёл их руки, сказав им:

– Я сам.

Группа двинулась к вертолёту. Когда они преодолели гряду камней, из-за них выползли две крупные змеи и поползли в их сторону. Сахалин шёл последним. Змеи отсекли его от группы и стали, перед ним, приняв боевую стойку, покачиваясь узорчатыми блестящими телами. Постоянно оглядывавшийся Мигель Орlando, первым увидел это и встревожено закричал, останавливаясь:

– Змеи!

Группа остановилась. Сержант выругался.

– Крикни этому Робинзону, чтобы в сторону отбежал. Что он стоит, как истукан?

– Может пристрелить этих гадов? – спросил у сержанта Маккензи.

Сержант покачал головой.

– Опасно. Можешь в Робинзона попасть.

Сахалин же совсем не испугался змей. Он, расхохотавшись, сказал, обращаясь к змеям: – Что, твари, проводить меня пришли? Привыкли ко мне? Как теперь без меня жить будете? Прощайте, твари. Оставайтесь на своём острове. С вами было хорошо, а без вас лучше. Ошиблась старуха, ваша подруга, ошиблась.

Савитцки крикнул:

– Друг, отбеги в сторону.

Сержант, кусая ногти, произнёс нервно:

– Этот дистрофик не сможет от них спастись. Он истощён, у него нет прыти, что бы спастись. Твари его одолеют.

– Давайте я забегу сбоку, в точку, где задену его и пристрелю гадов, – попросил сержанта Орландо.

– Попробуй, может и получится, – согласился сержант.

Орландо бегом рванул стороной к Сахалину. Он хотел, выбрав позицию для выстрела сбоку, под таким углом, что бы его выстрелы были безопасны для человека.

Сахалин в это же время сделал шаг в сторону, змеи зашипели. Они не дали ему сделать следующий шаг: метнулись молнией, одновременно впились в его ноги и сразу быстро стали уползать в сторону гротов.

Орландо с криком: «Господи!», открыл стрельбу по змеям, искромсав их пулями, в бешено извивающиеся куски. После он бросился к Сахалину, подошли и остальные.

– У нас нет вакцины, – сказал сержант. – Он умрёт.

Сахалин сел на песок. Потом лёг на спину. Из рта у него вытекала слюна. Ноги быстро опухали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.